ЖАН БОДРИЙЯР



впервые на русском языке

ФАТАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ

Jean Baudrillard

LES STRATÉGIES FATALES

Жан Бодрийяр

ФАТАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ



Москва

УДК 1
ББК 87
Б75

Перевод с французского А. Качалова
Научная редактура текста к. ф. н. Д. Дамте

Бодрийяр, Ж.
Б75 Фатальные стратегии / Ж. Бодрийяр ; [пер. с фр. А. Качалова; науч. ред. текста к. ф. н. Д. Дамте]. — М. : РИПОЛ классик, 2017. — 288 с. — (Авторская серия Жана Бодрийяра).

ISBN 978-5-386-10198-5

«Фатальные стратегии» — центральная, по мнению западных исследователей, работа Бодрийяра, поскольку именно здесь он излагает теоретическую основу всех своих предыдущих и последующих работ. Кроме того, в книге анализируются такие нетрадиционные для современной философии понятия, как судьба, любовь, соблазн, терроризм, экстаз, ирония, церемониал, обсценность, ожирение и т.д. Вслед за смертью Бога, автора и человека, философ провозглашает смерть субъекта как такового и верховенство объекта. Единственную стратегию, пусть и фатальную, которую он предлагает, — перейти на сторону объекта и иронично взирать на обезумевший мир. Именно после этой книги Бодрийяра стали называть гуру и даже первосвященником постмодернизма. А голливудских кинематографистов она вдохновила на создание известного фильма «V – значит вендетта».

УДК 1
ББК 87

ISBN 978-5-386-10198-5

ЭКСТАЗ
И ИНЕРЦИЯ

Вещи нашли способ избегать диалектики смысла, которая им докучала: пролиферируя[1] до бесконечности, потенциализируясь, превосходя свою сущность, доходя до крайностей и обсценности[2], отныне ставшей их имманентной[3] финальностью[4] и безрассудным обоснованием.

Ничто не мешает полагать, что тот же эффект может быть получен в обратном порядке, достигая иного, но столь же победоносного безрассудства. Безрассудство победоносно по всем направлениям — в этом и состоит принцип Зла.

Вселенная не диалектична — она обречена на крайности, а не на равновесие. Обречена на радикальный антагонизм, а не на примирение и синтез. Таков же и принцип Зла, и выражается он в злом духе объекта, в экстатической форме чистого объекта, в его победоносной стратегии относительно субъекта.

Мы достигнем изощренных форм радикализации скрытых качеств и будем бороться с обсценностью ее же оружием. Более истинному, чем истина, мы противопоставим более ложное, чем ложь. Мы не будем противопоставлять прекрасное и безобразное, мы отыщем более безобразное, чем безобразность: чудовищное. Мы не будем противопоставлять явное тайному, мы отыщем более тайное, чем тайна: непостижимое.

Мы не будем стремиться к изменению и противопоставлять незыблемое и изменчивое, мы отыщем более изменчивое, чем изменчивость: метаморфозу... Мы не будем отличать истинное от ложного, мы отыщем более ложное, чем ложь: иллюзию и кажимость[5]...

В этом стремлении к крайностям возможно радикально противопоставить, но возможно и совместить эффекты обсценности с эффектами соблазна.

Мы отыщем нечто более быстрое, чем коммуникация: вызов, дуэль. Коммуникация слишком нетороплива, это — следствие медлительности, она происходит через контакт и слово. Взгляд гораздо быстрей, это самый стремительный из медиумов. Все должно происходить мгновенно. Безо всякой коммуникации. Мгновенность взгляда, света, соблазна теряется в разнонаправленном движении коммуникации.

А кроме того, в противовес акселерации сетей и схем, мы отыщем медлительность — не ностальгическую медлительность духа, а непреодолимую неподвижность, медленнее всего медленного: инертность[6] и безмолвие. Инертность, непреодолимую усилием, безмолвие, непреодолимое диалогом. В этом также есть непостижимое.

Подобно тому как модель — более подлинное, чем подлинник (будучи квинтэссенцией существенных особенностей состояния), и тем самым доставляет головокружительное ощущение истины, так и мода имеет невероятное свойство более прекрасного, чем прекрасное: завораживающего. Ее соблазн независим от какого-либо оценочного суждения. Она выходит за рамки эстетической формы в экстатической форме безусловной метаморфозы.

В то время как эстетическая форма всегда предполагает моральное различие между прекрасным и безобразным, экстатическая форма имморальна. Если и имеется секрет моды, по ту сторону чистого наслаждения искусством и стилем, то таким секретом является имморальность, суверенность эфемерных моделей, хрупкая и тотальная страсть, устраняющая всякое чувство, произвольная, поверхностная и отрегулированная метаморфоза, устраняющая всякое желание (если только само устранение не является желанием).

Если таково желание, то разумно предположить, что и в социальной сфере, и в политической, и во всех иных областях, отличных от сферы прекрасного, желание, преимущественно, устремляется к имморальным формам, одинаково затронутым потенциальным отрицанием всякого оценочного суждения и еще более обреченным на такую экстатическую судьбу, которая отторгает вещи от их «субъективного» качества для того, чтобы предать их единственной притягательной силе удвоенного знака, удвоенной дефиниции[7], на судьбу, которая отторгает вещи от «объективных» причин, чтобы предать их под власть единственной силе их необузданных эффектов.

Попадая в спираль удвоения, всякое свойство возводится в превосходную степень — более истинное, чем истина, более красивое, чем красота, более реальное, чем реальность, — и обеспечивается эффектом головокружения, независимо от всякого содержания или от всех собственных качеств, и это становится сегодня нашей единственной страстью. Страсть удвоения, эскалации, увели-

чения мощности — *это экстаз* — некое качество, которое, переставая соотноситься со своей противоположностью (истинное и ложное, прекрасное и безобразное, реальное и воображаемое), становится суперлативным[8], несравненно положительным, потому что он как бы поглощает всю энергию своей противоположности. Представьте себе прекрасное, как бы поглотившее всю энергию безобразного: вы получите моду... Представьте подлинное, как бы поглотившее всю энергию поддельного: вы получите симуляцию...

Соблазн сам по себе головокружителен, он добивается своего эффекта не в простой, а в *удвоенной*, вызывающей или фатальной[9] по своей сути привлекательности. «Я не красивая, я хуже», — заявляла Мари Дорваль[10].

Мы живьем поглощены моделями, модой, симуляцией; возможно, Роже Кайуа[11] со своей терминологией был прав, и вся наша культура находится в процессе соскальзывания от регистров антагонистичных и экспрессивных к регистрам алеаторным[12] и головокружительным. Сама неопределенность основ толкает нас к головокружительному сверхумножению формальных качеств. Таким образом мы переходим к форме экстаза. Экстаз — это специфическое качество всякого тела, обращающегося вокруг себя самого вплоть до потери смысла, благодаря чему оно начинает сиять в своей чистой и пустой форме. Мода — экстаз прекрасного: чистая и пустая форма обращающейся эстетики. Симуляция — экстаз реальности: достаточно только посмотреть телевизор — все реальные события следуют друг за другом в совершенно экстатической реляции, то есть

в головокружительных и стереотипных, ирреальных и рецидивных формах, которые порождают их бессмысленный и беспрерывный ряд. Экстатичный: таков объект в рекламе и потребитель в ее созерцании — это круговращение меновой и потребительной стоимости вплоть до их исчезновения в чистой и пустой форме бренда...

Но если пойти еще дальше: антипедагогика — это экстатичная, то есть чистая и пустая, форма педагогики. Антитеатр — это экстатичная форма театра: чем больше сцены, тем больше контента; уличный театр, театр без актеров, театр всех для всех, который в итоге смешался бы с точным развертыванием нашего безиллюзорного бытия, — где же сила иллюзии, если она достигает экстаза от изложения нашей повседневной жизни и трансфигурации нашего рабочего места? Но это так, и именно поэтому искусство сегодня пытается выйти из себя самого, ищет самоотрицания, и чем сильнее старается оно таким способом самореализоваться, тем сильнее оно гиперреализируется, тем сильнее трансцендентирует к своей пустой сущности. И снова: головокружение, умопомрачение, mise-en-abyme [принцип матрешки] и оцепенение. Ничто так сильно не заставляет оцепенеть «творческий» акт и заставить его засиять в своей чистой и бессодержательной форме, как неожиданное экспонирование Дюшаном[13] в картинной галерее сушилки для бутылок. Экстаз банального объекта соотносит одновременно акт живописи с его экстатической формой — отныне безобъектной: объект обращается вокруг самого себя и определенным образом исчезает, не без того чтобы ввергнуть нас в необратимую фас-

цинацию[14]. Сегодня искусство занято лишь магией своего исчезновения.

Представьте себе добро, воссиявшее бы всей мощью Зла: это Бог, какой-то извращенный бог, который творит мир как вызов и требует его самоуничтожения...

Также можно представить выход за пределы социального, вторжение более социального, чем социум — то есть масс, — социального, поглотившего всю противоположную энергию антисоциального, инертности, невосприимчивости, молчания. Здесь логика социального обнаруживает свою крайность — предельную точку, в которой она инвертирует[15] свои цели и достигает не только своей точки инерции и уничтожения, но и — в то же время — экстаза. Массы — это экстаз социального, его экстатическая форма, зеркало, где оно отражается в своей тотальной имманентности.

Реальное не стирается в пользу воображаемого, оно стирается в пользу более реального, чем реальность: гиперреального. Более подлинное, чем подлинник: такова симуляция.

Присутствие не стирается пустотой, оно стирается удвоением присутствия, стирающего оппозицию присутствия и отсутствия.

Пустота также не стирается полнотой, но пресыщением и переполненностью — более полное, чем полнота: такова реакция тела в ожирении, секса в обсценности — абреакция на пустоту.

Движение исчезает не столько в неподвижности, сколько в скорости и ускорении — так сказать, в более подвижном, чем движение, доводящим движение до крайности, обессмысливающим его.

Сексуальность растворяется не в сублимации, подавлении и морали, а в гораздо более сексуальном, чем секс, — в порно. Порно — это современная гиперсексуальность гиперреального.

В общем, видимые вещи исчезают не во мраке и безмолвии — они растворяются в более видимом, чем видимое, — в обсценности.

Примером такой эксцентричности вещей, такого смещения в разрастание является вторжение в нашу систему случая, неопределенности, относительности.

Реакцией на это новое положение вещей было не безропотное забвение прежних ценностей, а, скорее, безумная сверхдетерминированность[16], обострение этих референциальных[17], функциональных, финальных и причинных ценностей. Возможно, что природа действительно ужасается пустоты, ибо именно там, в пустоте, рождаются, чтобы аннулировать ее, избыточные, гипертрофированные, перенасыщенные системы — избыток всегда располагается там, где больше ничего нет.

Определенность стирается не в пользу неопределенности, а в пользу гиперопределенности — избытка определенности в пустоте.

Финальность исчезает не в пользу случайности, а в пользу гиперфинальности, гиперфункциональности: более функционального, чем функциональность, более финального, чем финал, — в пользу гипертелии[18].

Случаю, погрузившему нас в аномальную неопределенность, мы ответили избытком причинности и финальности. Гипертелия — не случайность в эволюции некоторых видов животных, а такой вызов

финальности, который отвечает возрастающей неопределенности. В системе, где вещи все больше и больше предоставляются случаю, финальность превращается в исступление, и в исступлении отдельные элементы развиваются до тех пор, пока не охватят целиком всю систему.

Гиперспециализация объектов и людей, операциональность малейшей детали, гиперсигнификация[19] мельчайшего знака, характерная для раковой клетки (гипервитальность в единственном направлении), это лейтмотив нашей повседневности, а также тайный недуг всех систем, страдающих ожирением и раком, систем коммуникации, информации, производства и разрушения — все уже давно вышло за пределы своей функции, своей потребительной стоимости, чтобы взойти на призрачную эскаладу финальности.

Истерия, противоположная истерии финальности: истерия причинности, соответствующая одновременному стиранию истоков и первопричин; навязчивый поиск начала отсчета, отчетности, референции, попытка исчерпать явления в их бесконечно малых причинах. Но также комплекс генезиса и генетики, к которым восходят различные методы психоаналитического палингенеза (вся гипостазная психика раннего детства, все знаки, ставшие симптомами), также биогенетика (все вероятности, перенасыщенные фатальным расположением молекул), также гипертрофия исторических исследований, мания все растолковать, все приписать, все референцировать... Все это превращается в невероятное нагромождение существующих друг с другом и друг за счет друга референций. Здесь также раз-

вивается разрастающаяся интерпретационная система безо всякого соотношения со своей целью. Все это является следствием резкой утечки [hémorragie] объективных причин.

Феномены инертности акселелируют. Застывшие формы пролиферируют, и рост останавливается в разрастании. Такова форма гипертелии, того, что идет дальше собственного конца: у ракообразных, отдаляющихся от моря (к каким тайным целям?), не остается времени вернуться обратно. Возрастающий гигантизм статуй острова Пасхи.

Расползающаяся, выпячивающаяся, разрастающаяся, гипертельная: такова инертная судьба перенасыщенного мира. Отрицать гиперфинальностью свой собственный финал — разве это не раковый процесс? Разрастание взамен роста, а взамен скорости — инерция как ее итог. Массы тоже охвачены этим гигантским процессом инерции через акселерацию. *Массы* — это процесс разрастания, ускоряющий прекращение всякого роста. Это цепь, закороченная чудовищной финальностью.

«Exxon»: американское правительство требует у этой транснациональной корпорации всеобъемлющего отчета обо всей ее деятельности в мире. Результат: двенадцать томов в тысячи страниц, чтение которых, не то что анализ, займет годы работы. Где же информация? Может, стоит выдумать информационную диететику? Может, стоит обезжиривать ожирением ожиревшие системы, а также создавать институты дезинформации?

Невероятная разрушительная сверхпотенциальность стратегических вооружений — она сравнима разве что со всемирным демографическим разрас-

танием. Как ни парадоксально это может показаться, и то, и другое, имеет одинаковую природу и отвечает одной и той же логике разрастания и инерции. Триумфальная аномалия: их не способен обуздать никакой принцип права или меры, они взаимно увлекают друг друга. И хуже всего то, что здесь нет никакого прометеева вызова, никакой безмерности страсти и гордыни. Просто кажется, будто человеческий вид преодолел специфическую таинственную точку, откуда (после которой) невозможны ни возврат, ни снижение скорости, ни торможение.

> «Мучительная мысль — что после определенного временного пункта история более не может быть реальной. Не сознавая того, весь род человеческий внезапно оказался бы вне реальности. Все, что прошло бы с тех пор, не было бы вполне реальным, но мы не отдавали бы этому отчет. Наша задача и наш долг состоит теперь в том, чтобы выявить этот пункт, и до тех пор, пока не отыщем его, пребывать нам в продолжающейся деструкции».
>
> — Канетти[20]

Dead point: мертвая точка, в которой всякая система пересекает хрупкую грань обратимости, противоречия, переоценки, чтобы живьем войти в непротиворечие, в отвлеченное самосозерцание, в экстаз...

Здесь начинается патафизика[21] систем. Это логическое преодоление, эта эскалация, впрочем, не всегда доставляет дискомфорт, даже если всегда принимает форму катастрофы в замедленном режиме. То же самое относительно систем массового

поражения и стратегических вооружений. Сцена войны заканчивается в точке превышения разрушительной мощи. Поскольку нет больше полезной корреляции между потенциалом уничтожения и его целью, становится бессмысленным его использование. Система сдерживает, устрашая сама себя, и в этом парадоксально выгодный аспект сдерживания: нет больше пространства для войны. Именно поэтому остается надеяться на сохранение ядерной эскалации и гонки вооружений. Это будет ценой, уплаченной за чистую войну (Поль Вирильо[22]), то есть за чистую и пустую форму, за гиперреальную и бесконечно сдерживающую форму ведения войны, когда впервые мы сможем радоваться отсутствию событий. Как и реальное, война никогда больше не будет иметь место. Если только ядерные державы не преуспеют в деэскалации и не сумеют очертить новое пространство войны. Если только военная мощь ценой деэскалации этого безумия, в высшей степени удивительно полезного, вновь не отыщет сцену войны, ограниченное, так сказать, человеческое, пространство войны, и тогда вооружение вновь обретет свою потребительную стоимость и свою стоимость... меновую — тогда вновь будет возможным обменять войну. В своей орбитальной и экстатической форме, война стала невозможным обменом, и эта орбитальность нас бережет.

В чем суть стремления Канетти выявить ту мертвую точку, за которой «вещи перестают быть реальными», история перестает существовать, но мы не отдаем этому отчет, и нам не остается ничего иного, как только пребывать в продолжающейся деструкции?

Предположим, мы смогли определить эту точку: что бы мы сделали? Каким чудом история вновь стала бы реальной? Каким чудом можно было бы повернуть время вспять, чтобы предотвратить его исчезновение? Все чудеса научной фантастики с «возвращением назад во времени» бесполезны, поскольку эта точка является также конечной точкой линейного времени, его больше нет, и прошлое позади нас уже совершенно исчезло.

Какие меры предосторожности нужно было бы предпринять, чтобы избежать этого исторического коллапса, этой комы, этого испарения реального? Сделали ли мы что-то не так? Допустил ли род человеческий какую-то оплошность, нарушил ли некую тайну, совершил ли где фатальную ошибку? Тщетно спрашивать себя об этом, как и бесполезно задаваться вопросом, почему вас оставила женщина: все равно ничего не изменится. Ужасающий аспект события такого рода заключается в том, что все усилия по избавлению от него, после прохождения некоторой точки, его только ускоряют, никакое предчувствие ничему не помогает, каждое событие полностью подтверждает ему предшествующее. Наивность приписывать всякому событию его причины заставляет нас думать, что оно могло бы и не произойти, — чистое событие, событие без причины может произойти только неизбежно, — однако оно никогда не может быть воспроизведено, в то время как причинный процесс всегда можно повторить. Не может именно потому, что оно уже не является событием.

Следовательно, стремление Канетти — настолько благое намерение, насколько его гипотеза ради-

кальна. Точку, о которой он говорит, невозможно обнаружить по определению, поскольку если бы можно было ее уловить, то и время можно было бы повернуть вспять. Точка, от которой можно было бы повернуть вспять процесс расщепления времени и истории, ускользает от нас — вот почему мы и прошли ее, не заметив и конечно же совершенно того не желая.

Более того, вполне возможно, что точки Канетти не существует вообще. Она существует лишь в том случае, если можно доказать, что до нее история имела место быть, а это невозможно, раз точка уже пройдена. Вне сферы истории сама история не может больше ни отразиться, ни доказать свое существование. Вот почему мы требуем от всех предшествующих эпох, от всех образов жизни, от всех типов менталитета историзироваться, рассказать о себе в доказательствах и в подтверждающих документах (все становится документальным), ведь мы хорошо понимаем, что все это становится недействительным в нашей обстановке, которая является обстановкой конца истории.

Мы не можем ни вернуться назад во времени, ни принять такую ситуацию. Некоторые бойко разрешили эту дилемму: они обнаружили точку анти-Канетти, точку уменьшения скорости движения, которая позволила бы вернуться в историю, в реальное, в социальное, подобно тому, как спутник, затерявшийся в гиперпространстве, снова возвратился бы в земную атмосферу. Ложный радикализм сбил нас с дороги в центробежном пространстве, витальный всплеск возвращает нас к реальности. Преодолев навязчивую идею ирреальности истории, внезапно-

го коллапса времени и реального все вновь становится истинным, заново обретает смысл.

Возможно, они правы. Возможно, нужно было остановить эту резкую утечку [hémorragie] ценностей. Достаточно террористической радикальности, достаточно симулякров — возрождение морали, веры, смысла. Долой фаталистический анализ!

По ту сторону этой точки лишь события без последствий (и теории без выводов), и именно потому, что они сами поглощают свой смысл, они ничего не преломляют, ничего не предвещают. По ту сторону — лишь катастрофы.

Событие или язык становятся совершенными лишь тогда, когда овладевают своим собственным способом исчезновения, инсценируют его и достигают таким образом максимальной мощности кажимости.

Катастрофа — это событие в максимально возможном чистом виде, еще более событийное, чем событие — но событие без последствий, которое оставляет мир в состоянии саспенса[23]. Раз смысл истории утрачен, раз пройдена эта точка инерции, всякое событие становится катастрофой, становится чистым событием без последствий (но в этом и кроется его мощь).

Событие без последствий — как человек без свойств Музиля, как тело без органов [Делеза], как время без фиксации в памяти [Бергсона].

Когда свет улавливается и заново поглощается своим собственным источником, происходит резкая инволюция[24] времени в самом событии. Катастрофа в буквальном смысле: изгиб или искривление, из-за чего происходит совпадение начала и конца, они

сводятся в одно, конец возвращается к началу, аннулируя его и оставляя место событию, которому ничего не предшествует и за которым ничего не следует, — чистому событию.

Это также катастрофа смысла: событие без последствий отличает тот факт, что все причины могут быть ему безразлично приписаны, безо всякой возможности выбора среди них... Его первопричина также непостижима, как и его предназначение. Невозможно повернуть вспять ни течение времени, ни направление смысла.

Всякое событие сегодня фактически без последствий, оно открыто для всех возможных интерпретаций, и никакая из них не способна установить смысл: равновероятность всех причин и всех следствий — многократная и алеаторная импутация[25].

Если вокруг события сужаются волны смысла, памяти и исторического времени, если вокруг следствия сглаживаются волны причинности (а сегодня событие доходит до нас как волна, оно не только «странствует по волнам», оно и есть волна, которая дешифруется не в языковых и смысловых терминах, а только и сразу же в терминах цветового ощущения, осязаемости, атмосферности, в терминах сенсорных эффектов), то это потому, что свет замедляется, и из-за некого гравитационного эффекта свет события, то, что несет его смысл за пределы самого события, свет, носитель сообщения, замедляется, вплоть до остановки, и то же происходит со светом политики и истории, который мы воспринимаем очень смутно, или со светом небесных тел, которые мы наблюдаем лишь в виде тусклого подобия.

Нужно постичь катастрофу, которая подстерегает нас в замедлении света, — чем медленнее свет, тем медленнее он покидает свой источник, — таким образом, вещи и события не позволят ускользнуть своему смыслу, замедлят его излучение и перехватят то, что раньше они преломляли, прежде поглощения его абсолютно черным телом[26].

Научную фантастику всегда привлекали скорости, превышающие скорость света. Однако гораздо удивительнее был бы регистр низких скоростей, до которых мог бы опуститься свет сам по себе. Скорость света — то, что обеспечивает реальность вещей, так как именно она гарантирует своевременность улавливаемых нами образов. С заметным изменением этой скорости исчезло бы всякое правдоподобие причинной вселенной. Все вещи смешались бы во всеобщем беспорядке. Действительно, скорость света — наша система отсчета, наш бог, она стала нашим абсолютным показателем. Если свет понизится до относительных скоростей, исчезнет трансцендентность, не будет больше бога, чтобы распознать своих, вселенная погрузится в неопределенность.

Именно это происходит сегодня с электронными средствами связи, когда информация начинает циркулировать повсюду со скоростью, равной световой. Нет больше абсолюта, который был бы мерой для всего остального. Но за этим ускорением нечто начинает абсолютно замедляться. Возможно, мы начали абсолютное замедление. Что, если бы свет замедлился до «человеческих скоростей»? Что, если бы нас охватил замедленный поток изображения, ставший медленней наших собственных действий?

Таким образом, нужно обобщить случай, когда свет доходит до нас от давно уже погасших звезд — их изображение, прежде чем дойти до нас, преодолевает световые годы. Если бы свет был гораздо медленнее, то множество вещей, в том числе и самых близких, давно бы постигла судьба тех погасших звезд: мы бы их видели, они были бы там, но их бы там уже больше не было. И разве реальное в этом случае не было бы чем-то, чей образ еще доходит до нас, когда само оно уже исчезло? Аналогия с мысленными объектами и ментальным эфиром.

Если представить свет очень медленным, то тела могли бы приблизиться к нам быстрее, чем их изображения, что бы тогда произошло? Мы сталкивались бы с ними, прежде чем смогли бы увидеть их приближение. Впрочем, можно представить, в противоположность нашей вселенной, в которой все тела медленно движутся со скоростями, совершенно низкими по сравнению со скоростью света, вселенную, где тела перемещались бы с невероятными скоростями, за исключением света, который был бы очень медленным. Это был бы всеобщий хаос, который уже не регулировался бы мгновенностью световых сообщений.

Свет был бы как ветер с переменными скоростями, даже с мертвыми штилями, во время которых никакое изображение не достигало бы нас из зон застоя.

Свет был бы подобен запаху: различен в зависимости от тела, он почти не распространялся бы за пределы непосредственного окружения. Сфера световых сообщений, затухающих на расстоянии. Изображения тел почти не распространялись бы за гра-

ницы определенной световой области, больше не существуя за ее пределами.

Или более того, представить свет, движущийся с медлительностью материков, континентальных плит, которые наползают друг на друга и вызывают землетрясения, разрушающие все изображения и наше восприятие пространства.

Можно ли представить себе медленную рефракцию лиц и жестов, подобную движениям пловца в трясине? Как смотреть кому-то в глаза, как соблазнить его, если вы не уверены, что он еще здесь? Что, если замедленная кинопроекция охватит всю вселенную?

Комическая экзальтация ускорения, которое транцендентирует смысл эксплозией[27], — и поэтическое очарование замедления, которое разрушает смысл имплозией.

С тех пор, как ускорение стало нашим банальным состоянием, саспенс и замедление стали нашими современными формами трагического. С тех пор как время растянулось, расширилось до плавающих параметров реальности, оно больше не очевидно в своем нормальном течении. Оно больше не озаряется волей. Пространство также больше не озаряется движением. Поскольку их назначение (историческое?) утрачено, нужно, чтобы нечто вроде предопределения вновь вмешалось, дабы вернуть им некоторый трагический эффект. Это предопределение прочитывается в саспенсе и замедлении. Это то, что настолько приостанавливает развитие формы, что смысл больше не кристаллизируется. Или же, в дискурсе смысла, это медленное проявление другого смысла, который имплозирует в рамках первого.

Если бы свет настолько замедлился, что сжался бы в самом себе, и даже полностью прекратил бы распространятся, это ввергло бы вселенную во всеобщий саспенс.

Этот вид игры систем вокруг точки инерции демонстрирует форму врожденной катастрофы эры симуляции: сейсмическую форму. Форму, которой не достает основания, форму сдвига и сползания, растрескивания и фрактальных объектов, форму, в которой громадные плиты, целые плоскости наползают друг на друга и вызывают интенсивные поверхностные сотрясения.

Нас больше не поражает всепоглощающий небесный огонь, эта изначальная молния, которая была еще карой и очищением и которая оплодотворяла землю. Нас не поражает потоп, который скорее является материнской катастрофой, имевшей место в начале времен. Это все — грандиозные формы, легендарные и мифические, не дающие нам покоя. Форма взрыва, будучи более поздней, достигла кульминации в навязчивой идее ядерной катастрофы (но, в противоположность этому, она также питала миф о Большом взрыве, взрыве как начале вселенной). Еще более актуальной является сейсмическая форма, как еще одно доказательство той истины, что катастрофы приобретают форму породившей их культуры. Города также различаются по формам катастрофы, которую они предполагают и которая является яркой составляющей их шарма. Нью-Йорк — это Кинг-Конг, black-out[28] или же вертикальная бомбардировка: Tower Inferno[29]. Лос-Анджелес — это горизонтальная линия разлома, расселина и сползание Калифорнии в Тихий океан: Earth

Quake[30]. Сегодня это более близкая, более выразительная форма: она из порядка расщепления и мгновенного распространения, порядка волновой, скачкообразной и внезапной коммутации. Небо больше не падает вам на голову, теперь земля уходит из-под ног. Мы в расщепляющейся вселенной, среди дрейфующих льдин и горизонтальных сдвигов.

Интерстициальное[31] обрушение — таков эффект подземных толчков, но также и ментальных, которые нас подстерегают. Наиболее плотно сжатые вещи вибрируют и растрескиваются под весом собственной пустоты. Ибо в сущности (!) основы никогда и не существовало, как и недр, которые, как известно, в расплавленном состоянии — была лишь растрескавшаяся земная кора. Об этом говорят нам подземные толчки, они — реквием опорной конструкции. Отныне взгляд наш устремлен не в звездное небо, а в подземное царство, угрожающее нам обрушением в пустоту.

К тому же, мы пытаемся постичь эту энергию, но это чистое безумие. Это все равно что постичь энергию автомобильных аварий, или сбитых собак, или всего того, что коллапсирует. (Новая гипотеза: если вещи имеют все большую тенденцию исчезать и коллапсировать, то возможно, что основным источником будущей энергии будет несчастный случай или катастрофа.)

Одно можно сказать наверняка: если даже нам не удастся постичь сейсмическую энергию, то символическая волна землетрясения далека от затухания: символическая энергия, если можно так сказать, то есть мощь фасцинации и *иронии*, высвобождаемая

в таких случаях, несоизмерима с материальным разрушением.

Именно такую мощь, символическую энергию разлома, фактически и пытаются постичь в этом безумном проекте или же в другом, более насущном проекте предупреждения землетрясений различными планами эвакуации. Самое забавное — эксперты рассчитали, что чрезвычайное положение, объявленное на основе предсказания сейсмической активности, спровоцируют такую панику, что последствия ее будут более разрушительными, чем последствия самой катастрофы. И вот мы полностью в ироничном положении: в отсутствие реальной катастрофы, ее возможно спровоцировать посредством симуляции, и эта катастрофа будет равна первой и сможет даже ее заменить. Спрашивается: не здесь ли выходят на поверхность фантазмы «экспертов», ведь то же самое происходит в ядерной сфере, не играют ли все системы предупреждения и сдерживания роль виртуальных[32] очагов катастрофы? Под предлогом предотвращения они непосредственно материализуют все ее последствия. Поэтому невозможно положиться на случай, чтобы вызвать катастрофу, — нужно найти ее запрограммированный эквивалент в механизме безопасности.

Таким образом, очевидно, что государство или власть достаточно оснащенные, чтобы предсказывать землетрясения и предусмотреть все последствия, представляли бы опасность для сообщества и носили бы еще более невероятный характер, чем сама сейсмическая активность. *Terremotati* [пострадавшие от землетрясения] Южной Италии обруши-

лись на итальянское правительство за его халатность (СМИ прибыли раньше, чем спасатели, и это очевидный показатель современной иерархии аварийности), они с полным правом обвинили в катастрофе политический порядок (в той степени, что этот порядок претендует на универсальную заботу о населении). Но им и в голову не мог прийти порядок, способный предотвращать такие катастрофы: за это пришлось бы заплатить тем, что все, по сути, предпочли бы катастрофу, — она, со всеми своими бедствиями, отвечает, по крайней мере, пророческому требованию насильственного уничтожения. Она отвечает, по крайней мере, глубокому требованию иронии над политическим порядком. То же самое касается терроризма: каким было бы государство, способное предотвратить и уничтожить в зародыше всякий терроризм (Германия)? Ему самому пришлось бы вооружиться терроризмом, оно должно было бы распространить террор на всех уровнях. Если такова цена безопасности, то все ли на самом деле мечтают об этом?

Помпеи. Все метафизично в этом городе, вплоть до его сонной геометрии, которая является не пространственной геометрией, но ментальной, геометрией лабиринтов — время застыло здесь еще более явно, чем в полуденный зной.

Потрясающе для психики осязаемое присутствие этих руин, их саспенс, их изменчивые тени, их повседневность. Сочетание банальности прогулки и имманентности другой эпохи, иного момента, уникального — мгновения катастрофы. Именно смертоносное, но упраздненное присутствие Везувия придает мертвым улицам шарм галлюцина-

ции — иллюзию быть здесь и теперь, накануне извержения, быть воскрешенным чудом ностальгии два тысячелетия спустя в имманентности предыдущей жизни.

Немногие места производят подобное впечатление сверхъестественности (неудивительно, что Йенсен[33] и Фрейд определили здесь психологический эффект *Градивы*[34]). Здесь ощущается весь пыл смерти, оживляющий окаменелости и мимолетные знаки повседневности: следы от колес в камне, потертые края колодцев, окаменелая древесина приоткрытой двери, складка тоги погребенного под пеплом.

Нет никакой истории (подобной той, из-за которой ценятся памятники) между этими вещами и нами: здесь они материализовались мгновенно, в самом пекле, где их застала смерть.

Сущность Помпей не в монументальности и не в красоте, а в фатальной интимности вещей и в фасцинации от их мгновенности как совершенного симулякра нашей собственной смерти.

Помпеи, таким образом, являются своего рода оптической иллюзией и первичной сценой[35]: то же самое головокружение на одно измерение меньше, на временное измерение, та же самая галлюцинация на одно измерение больше, на измерение транспарентности[36] мельчайших деталей, будто точное видение деревьев, погруженных живьем в глубину искусственного озера, которые вы наблюдаете, проплывая над ними.

Таков ментальный эффект катастрофы — остановить вещи, прежде чем они подойдут к своему естественному концу, и поддерживать таким образом в неопределенности их появления.

Недавно Помпеи заново разрушены землетрясением. Что это за катастрофа, которая свирепствует над руинами? Что это за руины, которые заново нуждается в разрушении и погребении? Садистская ирония катастрофы: она втайне ждет, что вещи, даже руины, вновь обретут свою красоту и свой смысл для того, чтобы заново их аннулировать. Она ревностно заботится о разрушении иллюзии вечности, но также заигрывает с ней, заставляя застыть вещи в вечности альтернативной. Именно это оцепенело — застывшее, это ошеломляющее присутствие полнокровной жизни в мгновенности катастрофы — то, что создало шарм Помпей. Первая катастрофа, катастрофа Везувия, удалась. С последним землетрясением есть большие проблемы. Похоже, оно подчиняется правилу удвоения событий с пародийным эффектом. Жалкое повторение грандиозной премьеры. Завершение великой судьбы жестом «Прикончить!» от ничтожного божка. Но, возможно, это повторное землетрясение имеет иной смысл: оно извещает нас о том, что теперь пора не грандиозных крушений и воскрешений, игр смерти и вечности, а мелких фрактальных событий, плавного размытия посредством постепенного соскальзывания, и нет больше никаких последствий, ибо сами следы стираются этой новой судьбой. Это вводит нас в горизонтальную эру событий без последствий, последний акт разыгрывается самой природой в свете пародии.

ФОРМЫ
ТРАНСПОЛИТИЧЕСКОГО

Трансполитическое — это транспарентность и обсценность всех структур в деструктурированном мире, транспарентность и обсценность хода истории в деисторизированном мире, транспарентность и обсценность информации в бессобытийном мире, транспарентность и обсценность пространства в беспорядочном переплетении сетей, транспарентность и обсценность социального в массах, политического в терроре, тела в ожирении и генетическом клонировании... Конец исторической сцены, конец политической сцены, сцены фантазматической и телесной — вторжение обсценности. Конец тайны — вторжение транспарентности.

Трансполитическое — способ исчезновения всего этого (захватывающим является уже не способ появления, а именно способ исчезновения), это зловещее искривление, которое кладет конец горизонтам смысла. Перенасыщенность систем ведет их к точке инерции: равновесие страха (террора) и сдерживание, кругообразное орбитальное вращение плавающего капитала, водородных бомб, информационных спутников... и теорий, также плавающих, сателлитов отсутствующей референции. Перенасыщенность систем памяти, накопление информации, которая отныне уже не поддается обработке — перенасыщенность, переполненность си-

стемы ядерного уничтожения, которая отныне уже переросла собственные конечные цели, сделалась избыточной, гипертельной. То же самое происходит с трансполитическим: переход от роста к разрастанию, от финальности к гипертелии, от органического равновесия к раковым метастазам. Это уже очаг катастрофы, а не кризиса. Все вовлекается туда в технологическом ритме, включая экологически безопасные и психоделические технологии, что ведет нас все дальше и дальше от всякой реальности, всякой истории, всякой судьбы.

Но если тайна все больше преследуется транспарентностью, если сцена (не только сцена смысла, но и сила иллюзии и соблазна кажимостей) все сильнее преследуется обсценностью, то все же можно утешиться тем, что одна загадка остается неприкосновенной — загадка трансполитического.

Эра политического была эрой аномии[37]: кризис, насилие, безумие и революция. Эра трансполитического — это эра аномалии; отклонение от нормы без последствий, современное событию без последствий.

Аномия — это то, что выходит из-под юрисдикции закона, аномалия — то, что выходит из-под юрисдикции нормы. (Закон — инстанция, норма — характеристика, закон — трансцендентность, норма — усредненность.) Аномалия разыгрывается в алеаторной, статистической сфере, сфере вариаций и модуляций, которая уже не имеет предела или характерной грани нарушения закона, потому что все это сводится к статистическому и операциональному уравнению. Это настолько нормализован-

ная сфера, что анормальности здесь уже нет места, хотя бы в виде безумия или субверсии[38]. Но тем не менее она все еще остается аномалией.

В ней есть нечто таинственное, ведь неизвестно точно, откуда она исходит. Известно, откуда берется аномия: предполагается знание закона, поэтому аномия не является отклонением, она является нарушением определенной системы. С аномалией не так: есть сомнение в самом законе, который она избегает, и в правиле, которое она нарушает. Этот закон более не существует или же он неизвестен. Аномалия — нарушение или скорее заблуждение относительно порядка вещей — нам неведомом, если речь идет о системе причин и следствий.

Аномалия уже не несет в себе ни трагизма анормальности, ни даже опасности и девиантности аномии. Она безвредна, в определенном смысле, безвредна и необъяснима. Она принадлежит к порядку чистого и простого появления, выхода на поверхность системы, нашей системы, это нечто, пришедшее из другого места. Или из другой системы?

Аномалия не имеет критического влияния на систему. Это скорее разновидность мутации.

Ожирение

Речь пойдет об аномалии, о том завораживающем ожирении, которое повсеместно встречается в США. Об этом виде чудовищной конформности[39] в пустом пространстве, об извращении переизбытком конформности, отражающем гиперизмерение социальности, одновременно перенасыщенной и пустой, со-

циальности, где потерялись социальная сцена и сцена телесная.

Это загадочное ожирение уже не является ни защитной жировой прослойкой, ни невротическим ожирением, ни депрессионным. Это ни компенсационное ожирение недоразвитости, ни алиментарное ожирение[40] перекормленности. Как ни парадоксально, но это способ исчезновения тела. Таинственное правило, которое определяет границы телесной сферы, исчезло. Таинственная форма зеркала, посредством которого тело наблюдает за самим собой и своим образом, упразднена, уступив место безудержной избыточности живого организма. Нет более ни границ, ни трансценденции, будто тело уже не противопоставляется внешнему миру, а пытается переварить пространство в своем собственном появлении.

Эти ожиревшие формы завораживают полным забвением соблазна. Впрочем, это их больше и не волнует, и живут они себе без комплексов, непринужденно, так, будто у них уже не осталось даже идеала своего «я». Они не смешны, и они знают это. Они претендуют на своего рода истинность, и действительно, они иллюстрируют собой систему, ее раздувание в пустоту. Они являются ее нигилистическим выражением, выражением общей бессвязности знаков, морфологий, форм алиментации и городской жизни — гипертрофированная клеточная ткань, пролиферирующая во всех направлениях.

Внутриутробное, первичное, плацентарное ожирение — это так, будто они беременны своими телами и не могут никак разрешиться. Тело полнеет и полнеет, но не может разродиться собой. Физиче-

ское ожирение сопровождает вторичное ожирение, ожирение симуляции по образу современных систем, которые раздувает от такого количества информации, что они никогда не разродятся ею, характерное ожирение операциональной современности с ее манией все сохранить и все записать в память, в наивысшей бесполезности дойти до самых границ инвентаризации мира и информации, и в то же время ввести такую чудовищную потенциальность, которую невозможно представить, потенциальность, которую уже невозможно пустить в ход, бесполезную избыточность, которая воскрешает прошлую эпоху, но в холодной [cool] вселенной, без иронии, без остроты патафизики — пресловутое брюхо Папаши Убю[41].

Патафизическая или метафизическая, в любом случае эта истерия раздутости является одним из самых причудливых признаков американской культуры, той призрачной среды, где каким-то образом у каждой клетки (каждой функции, каждой структуры) остается, как при раке, возможность делиться, множиться до бесконечности, занимать практически все пространство только собой, монополизировать всю информацию только для себя (feed-back [обратная связь] — это уже ожиревшая структура, это матрица всех форм структурного ожирения) и забываться в блаженной генетической избыточности. Каждая молекула блаженствует в раю собственного формата...

И дело тут не в ожирении каких-то отдельных экземпляров, а в ожирении всей системы, обсценности всей культуры. Именно когда тело теряет свою норму и свою сцену, оно достигает этой стадии об-

сценного ожирения. Именно когда социальное тело теряет свою норму, свою сцену и свою цель, оно также достигает знакомой нам чистой и обсценной стадии, в своей зримой, через чур заметной форме, своей показухе, в своем инвестировании и сверхинвестировании[42] во все сферы социального — все это не меняет призрачный и транспарентный характер целого.

Это ожирение также призрачно — абсолютно невесомое, оно плавает в чистом сознании социальности. Оно воплощает бесформенную форму, аморфную морфологию современного социального: идеальную индивидуальную парадигму примирения, самоуправляемой замкнутой ячейки. Строго говоря, это уже не тела, а экземпляры некой раковой неорганичности, с которой мы сталкиваемся повсюду.

Если оставаться в оральной плоскости (хотя в этом ожирении нет ничего ни от навязчивого влечения, ни от оральной регрессии[43]) можно сказать, что с социальным происходит то же, что и со вкусом в американской кухне. Гигантское предприятие по разубеждению во вкусе пищевых продуктов — их вкус словно изолировали, вычистили и повторно воссоздали в виде искусственных, вплоть до пародии соусов. Этот *flavour* [вкус] — как некогда кинематографический *glamour*: стирание любого творческого стиля в пользу ауры киностудии и фасцинации моделей. Так же и с социальным: как любая функция вкуса изолирована в соусе, так и социальное изолированно как функция во всех тех терапевтических соусах, в которых мы плаваем. Социосфера контакта, контроля, убеждения и разубеждения,

эксгибиция[44] запретов в больших или гомеопатических дозах («Have a problem, we solve it! [Есть проблема? Мы ее решим!]”): это и есть обсценность. Все структуры вывернуты наизнанку, выставлены напоказ, все действия становятся зримыми. В Америке это повсюду — от невероятного сплетения телефонных сетей и линий наземной передачи электроэнергии (все сети находятся на поверхности) вплоть до конкретной демультипликации всех телесных функций в жилом помещении, перечня всех ингредиентов на крошечной упаковке, опубликования доходов или IQ, включая преследование всевозможных указателей, настойчивое стремление выставить напоказ мышцы и органы человеческого тела, равное безумному стремлению локализовать критическую функцию мышления в лобных долях мозга...

Живая детерминация теряется в унылом программировании, все задумывается как сверхопределенность и стремится к своей истерической ипостаси. Так и социальное, бывшее когда-то зеркалом конфликта, класса, пролетариата, находит свою окончательную ипостась в инвалидности. Исторические противоречия приняли патафизическую форму физического или умственного недостатка. Существует нечто странное в этой истерической конверсии социального — наиболее вероятным диагнозом будет то, что в инвалидах, как и в слабоумных или толстяках, *социальное неотступно преследуется своим исчезновением*. Потеряв свое правдоподобие и правила своей политической игры, социальное в своих живых отбросах ищет нечто вроде транcполитической легитимности — после управления кри-

зисом, открытое самоуправление дефицитом и уродством [monstruosité].*

Когда-то было: «Каждому по его заслугам», затем: «Каждому по его потребностям», позднее: «Каждому по его желаниям», а теперь: «Каждому по его недостаткам».

Благодаря полнотелой неделимости, ожирение в определенном смысле избегает сексуации, полового разделения. Сексуальную пустоту оно решает путем поглощения окружающего пространства. Эта толща символически наполнена всеми объектами, от которых она не смогла отделиться, или же теми, для которых нет дистанции, чтобы их желать. Она не отделяет тело от *не*-тела. Ее тело является выпуклым или же вогнутым зеркалом, она неспособна создать плоское зеркало, которое отражало бы ее.

Стадия зеркала, которая, благодаря различению границ, позволяет ребенку открыть сцену воображаемого и сцену репрезентации[45], — это разъединение не происходит в случае с ожирением, и, поскольку оно не может достичь этого внутреннего разделения, оно входит в безраздельное умножение тела без образа.

Не существует ожиревших животных, как нет и животных обсценных. Может, это потому, что животному недоступна ни сцена, ни образ? Поскольку

---

* Но «дефицитное» управление социальным, как известно, всегда заводит в тупик. И вот аллегория: в США повсеместно приспособили тротуары для инвалидов-колясочников. Но люди с плохим зрением, которые раньше ориентировались на бордюры тротуаров, теперь дезориентированы и часто попадают под колеса автомобилей. В результате возникла идея сделать вдоль дорог перила для слепых. Но в таком случае колясочники будут цепляться за эти перила своими колясками...

оно не подчиняется этому сценическому обязательству, то и не может быть обсценным. У человека же, напротив, это обязательство абсолютное, но в случае с ожирением происходит нечто вроде прекращения этого обязательства, отсутствует дерзновение репрезентации, малейший намек на соблазн — происходит потеря тела как облика. Поэтому патология ожирения имеет не эндокринное происхождение, это патология сцены и обсценности.

Трудно сказать, что представляет собой сцена тела. По крайней мере, это место, где *тело развертывается*, в особенности и перед самим собой, где оно ускользает в эллипсисе форм и движений — через танец, где оно избегает своей инертности — через жест, где оно высвобождает себя — через ауру взгляда, где речь идет об аллюзии или отсутствии, — одним словом, там, где оно предлагает себя как соблазн. Именно отсутствие всего этого превращает ожирение в обсценную массу.

Таким образом, в своем переизбытке ожирение представляет секс как излишек. Это общее с клоном: другой мутант еще не проявился, но ожирение уже отлично предвосхищает его. Не питает ли оно мечту о такой гипертрофии, чтобы однажды разделиться на два одинаковых существа? Транссексуальное в своем роде — не стремится ли оно выйти за пределы полового размножения и вернуться к воспроизведению существ путем деления? Пролиферация тела недалека от генетической пролиферации...

Парадокс клонирования заключается в создании существ, идентичных их генетическим родителям (не эдипальным!), а следовательно, наделенных полом, в то время как сексуальность в этом

процессе стала совершенно ненужной. Пол клона — это излишек, но это не чрезмерная избыточность Батая[46], это просто бесполезный остаток, как рудиментарные органы или отростки у животных, назначение которых уже невозможно установить, отростки, которые кажутся аномальными и уродливыми. Пол стал наростом, эксцентричным различием, которое само уже не продуцирует смысл (наша история, так же как и история вида, отмечена грудой таких мертвых различий).

Может быть, во всем органическом единстве существует влечение к развитию благодаря чистой смежности, тенденция к линейному и клеточному однообразию? Это то, что Фрейд называл влечением к смерти, то, что является лишь недифференцированным разрастанием живого. Этот процесс не знает ни кризиса, ни катастрофы: он гипертельный, в том смысле, что не имеет другой цели, кроме роста, невзирая на границы.

В определенный момент что-то всегда просто останавливает этот процесс. В случае с ожирением этот процесс не останавливается. Теряя свои специфические черты, тело продолжает монотонное разрастание своих тканей. Утратив свою индивидуальность и половые признаки, оно является лишь бесконечным распространением — метастатическим.

В своем эссе *«О концепции экстаза как метастаза»* Франц фон Баадер[47] рассматривает метастаз, который он приравнивает к экстазу, как антиципацию[48] смерти, выход за пределы собственного конца в рамках самой жизни. И конечно, это есть и в ожирении, когда кажется, будто еще живое тело поглотило свой собственный труп, что создает слишком

много тела, и вследствие этого оно представляется как излишек. Это проглатывание ненужного органа, это своего рода поглощение им собственного пола, и это поглощение пола порождает обсценность гипертрофированного тела.

Эта экстатическая, или, по Баадеру, метастатическая, форма — форма смерти, которая неотступно преследует живое и заставляет его проявляться как бесполезное воплощение, — вполне распространяется и на современные информационные системы, такие же метастатические в том плане, что они антиципируют мертвый смысл в сигнификации живого и, таким образом, продуцируют слишком много смысла, продуцируют смысл как излишек, как бесполезный протез. Так же и с порно: его фантомность следует из антиципации мертвого секса в живой сексуальности, из бремени всего мертвого секса (по аналогии с бременем всего мертвого труда, который лежит на труде живом). Поэтому порно тоже представляет сексуальность как излишек, и именно это обсценно: не потому, что там слишком много секса, а потому, что в итоге секс становится излишком. Ожирение обсценно не потому, что в нем слишком много тела, а потому, что тело становится излишком.

К какой таинственной цели оно стремится (ведь должна же быть какая-то цель)? Что за похотливый демон протягивает телу это кривое зеркало (ведь здесь кроется похотливость)?

Может, речь идет о бунте, как в случае с раковыми заболеваниями? Некогда бунты были политическими, это были мятежи групп или же индивидов, угнетаемых в их желании, их способностях или ин-

теллекте. Сегодня такой бунт вряд ли разразится. В нашей четвертичной вселенной бунт стал *генетическим*. Это бунт раковых клеток в метастазе: неукротимая витальность и хаотичная пролиферация. Это тоже бунт, но недиалектический, — подсознательный, — бунт, который выходит из-под нашей власти. И кто знает, какова судьба раковых образований? Возможно, их гипертелия соответствует гиперреальности наших социальных образований. Все происходит так, будто тело, его клетки взбунтовались против генетического *декрета*, против, как ее называют, командной роли ДНК. Тело восстает против своей собственной «объективной» дефиниции. Является ли этот акт патологическим (как в случае с дерегулированием антител)? В традиционной, соматической или психосоматической патологии тело реагирует на внешнюю физическую, социальную или психологическую агрессию — это экзотерическая[49] реакция. В то время как рак — это реакция *эзотерическая*: тело восстает против своей собственной внутренней организации, разрушает свой собственный структурный баланс. Как будто плоти надоела собственная дефиниция и ее охватил органический бред.*

---

* Следует заметить, что патология, связанная с метафорическим телом с его разделенностью и его вытеснением, уже не разыгрывается в этой метастатической стадии. Это тело — ожиревшее тело, клонированное тело, раковое тело — является протезом, метастазом, разрастанием — это уже не сцена, и для него уже ничего не значат ни фантазм, ни вытеснение. В определенном смысле у него нет уже и бессознательного, и это конец психоанализа. И без сомнения, что это начало другой патологии: известна клоническая (хроническая) меланхолия существ, делящихся до бесконечности, простейших, размножающихся делением,

Ожирение также находится в полнейшем бреду. Ведь оно не только полно той полнотой, которая противоречит нормальной морфологии: оно полнее полного. Оно уже не имеет смысла в различительной оппозиции — его смысл в его чрезмерности, избыточности, его гиперреальности. Оно превосходит свою собственную патологию и именно поэтому ускользает как от диететики, так и от психотерапии и следует другой логике, экспоненциальной стратегии, когда вещи, лишенные собственной финальности или референции, удваиваются в некой игре mise en abyme [принцип матрешки].

Таким образом, ожирение является отличным примером той перипетии, которая нас подстерегает, той революции в вещах, которая заключается уже не в их диалектической трансцендентности *(Aufhebung)*, а в их потенциализации *(Steigerung)*, возведении их в квадрат, в *энную* степень, примером этого восхождения к крайностям в отсутствие правил игры.

Как в случае со скоростью, которая является лишь совершенным выражением подвижности, потому что, в противоположность движению, которое имеет смысл, она смысла уже не имеет, никуда не идет, а, следовательно, не имеет ничего общего

не половым путем — импульсивным и интенсивным, а экспульсивным и экстенсивным, не путем роста, а путем нароста, не путем соблазна, а путем трансдукции[50] (тела, которые стали сетями и которые распространяются по сетям). Но также известна меланхолия нарциссических существ и обществ — нарциссических из-за неразделенности и неопределенности, — где анализ также бессилен. Впрочем, анализ и психоанализ годятся лишь в пространстве метафоры, которое является пространством символического порядка. И совсем не годятся в другом порядке, порядке метаморфозы, или в другой крайности, в крайности метастаза.

с движением: она является его экстазом, — так и в случае с телом в его аберрации ожирение является его совершенной верификацией, его экстатической истиной, ибо тело в нем, вместо своего отражения, получает свое собственное увеличительное зеркало. «Лишь тавтологические фразы являются совершенно верными», как выразился Канетти.

Заложники

Насилие аномично, террор аномален. Он, так же как и ожирение, является чем-то вроде выпуклого зеркала, которое искажает политический порядок и сцену. Зеркало их исчезновения. Думается, террор также исходит из иной последовательности, алеаторной и головокружительной, из контагиозной паники и уже не соответствует детерминации только лишь насилия. Более насильственный, чем насилие, — таков терроризм, и его трансполитическая спираль соответствует тому же восхождению к крайностям в отсутствии правил игры.

Ни жив, ни мертв, заложник находится в подвешенном состоянии на неопределенный срок. Его подстерегает отнюдь не его судьба и не его собственная смерть, а анонимный случай, который может оказаться совершенным произволом. Нет даже правил игры его жизнью и смертью. Вот почему он находится по ту сторону отчуждения, за гранью отчуждения и обмена. Он находится в состоянии радикальной чрезвычайной ситуации, виртуального уничтожения.

Заложник не может даже рисковать собственной жизнью: этот риск украден у него в качестве

страховки. В некотором смысле, это еще хуже: если заложник больше ничем не рискует, то он полностью защищен, он избавлен от своей собственной судьбы.

Он уже вовсе не жертва, не тот, кто умирает, он лишь отвечает за смерть другого. Его суверенитет даже не отчужден — он заблокирован.

Это как во время войны, согласно закону эквивалентности, который как раз не принадлежит к военным законам: десять заложников расстреливали за одного убитого офицера. Но и целые нации могут служить заложниками своего вождя: немецкий народ был обречен на смерть Гитлером, если бы его не победили. В ядерной стратегии заложниками генштабов являются гражданское население и крупные города: их смерть и их уничтожение служат аргументами сдерживания.

Мы все заложники. Отныне все мы служим аргументами сдерживания. Объектные заложники: мы коллективно за что-то отвечаем, вот только за что? Вид фальшивого предопределения, манипуляторов, которых даже невозможно установить, хотя мы знаем, что баланс нашей смерти уже не в наших руках и что отныне мы находимся в состоянии саспенса и перманентной чрезвычайной ситуации, чьим символом является ядерная угроза. Объектные заложники ужасного божества, мы даже не знаем какое событие, какая катастрофа произойдет в результате конечной манипуляции [нажатия ядерной кнопки].

Но в то же время и субъектные заложники. Мы отвечаем сами за себя, мы страхуемся, мы ручаемся за свои риски своей головой. Таков закон страхового общества, где все риски должны быть покры-

ты. Эта ситуация соответствует ситуации заложника. Мы *заложены* обществом, нас взяли под опеку словно под *залог*. Ни жизнь, ни смерть — такова безопасность и, как ни парадоксально, таков статус заложника.

Предельная и карикатурная форма ответственности: анонимной, статистической, формальной и алеаторной ответственности, которая включает в себя террористический акт или же захват заложников. Но если хорошо вдуматься, то терроризм — только лишь исполнитель великого делания [magnum opus] системы, которая парадоксальным образом стремиться одновременно и к полной анонимности, и к полной ответственности за каждого из нас. Через смерть *неважно кого* она выполняет анонимный приговор, который с этого момента становится нашим приговором — приговором анонимной системы, анонимной власти, анонимного террора наших реальных жизней. Принцип уничтожения — это не смерть, а статистическое безразличие. Терроризм является лишь исполнительным механизмом концепта, который, отрицает себя в своей реализации: концепта неограниченной и неопределенной ответственности (кого угодно, за что угодно, когда угодно). Он лишь доводит до предела ту самую пропозицию либерального и христианского гуманизма: все люди солидарны, то есть ты солидарен и ответствен за бедственное положение париев[51] в Калькутте. Если уж речь идет о чудовищности терроризма, то может стоит задуматься, не является ли пропозиция всеобщей ответственности сама по себе чудовищной и террористической по своей сути.

Парадокс нашей ситуации заключается в следующем: поскольку ничто уже не имеет смысла, то все должно функционировать безупречно. Поскольку нет субъекта ответственности, то ответственность за каждое событие, даже самое незначительное, должна быть всенепременно приписана кому-либо или чему-либо, — ответственны все, плавающая максимальная ответственность налицо и готова инвестироваться в любой инцидент. Каждая аномалия должна быть обоснована, и каждое нарушение должно найти своего виновника, свою преступную связь. Поиск ответственности, которая несоизмерима с событием, истерия ответственности, которая сама является следствием исчезновения причин и всемогущества последствий, — это тоже террор, тоже терроризм.

Проблема безопасности, как известно, преследует наши общества и уже давно заменила проблему свободы. Это не столько изменение в философии или морали, сколько эволюция объективного состояния системы:

- относительно шаткое, диффузное, экстенсивное состояние системы порождает *свободу*;
- другое (более плотное) состояние системы порождает *безопасность* (саморегулирование, контроль, feed-back и т.д.);
- последующее состояние системы, состояние пролиферации и переполненности, порождает панику и *террор*.

Здесь нет никакой метафизики, это объективное состояние системы. Можно применить это к автомобильному движению или к системе циркуляции ответственности — без разницы. Свобода, безо-

пасность, террор: мы прошли эти три последовательные стадии во всех сферах. Личная ответственность, затем контроль (когда ответственность берет на себя объективная инстанция), далее террор (обобщенная ответственность и шантаж ответственностью).

Чтобы уладить и прекратить скандал вокруг смерти от несчастного случая (неприемлемой в нашей системе свободы, права и рентабельности), появились крупные системы террора, то есть системы предупреждения смерти от несчастного случая систематической и организованной смертью. Вот в чем чудовищность и логичность нашего положения: системы организованной смерти кладут конец смерти как случайности. И именно эту логику отчаянно старается сломать терроризм, заменяя систематическую смерть (террор) избирательной логикой: логикой заложника.

(Предлагая себя в жертву вместо заложников в Могадишо[52], папа Римский также пытался заменить анонимный террор *избирательной* смертью, жертвоприношением по образу Христова искупления за весь род человеческий, но это предложение было непреднамеренной пародией, ведь оно означало вариант и модель поведения, которые абсолютно немыслимы в наших современных системах, чьим движителем является как раз не жертвоприношение, а уничтожение, не избранная жертва, а спектакулярная[53] анонимность.) Даже в «жертвоприношениях» террористов, пытающихся разрешить ситуацию собственной смертью, нет ничего искупительного — это разве что на мгновение приподнимает вуаль анонимного террора.

Искупать нечего, потому что и те, и другие — и террористы, и заложники — потеряли свои имена: все они стали неназываемыми.

Нет у них больше и территории. Ведь «пространство терроризма»: аэропорты, посольства — фрактальные, нетерриториальные зоны. Посольство — это ничтожно малое пространство, где можно взять в заложники целое иностранное государство. Самолет — это частица, блуждающая молекула вражеской территории, а значит, уже почти сама территория, а его пассажиры — уже почти заложники, потому что взять в заложники — значит изъять кого-то с его же территории, чтобы вернуть равновесие страха (террора). Террор сегодня повсеместно является нашим нормальным состоянием по умолчанию, и наиболее зримо материализуется он в орбитальном, космическом пространстве, которое отныне повсюду возвышается над нашим пространством.

Мировой порядок определяет теперь no man's land [ничейная территория] террора: именно из этого, так сказать, экстратерриториального, экстрапланетарного места мир изъят, буквально взят в заложники. Равновесие страха (террора) означает следующее: *мир стал коллективно ответственным за тот порядок, который в нем царит* — если что-то серьезно нарушит этот порядок, *то мир должен быть разрушен...* А откуда можно это сделать наиболее эффективно, как не из мест, находящихся вне мира, то есть со спутников и установок орбитальных ракет? Именно оттуда, с этих не вполне территорий, очень удобно нейтрализовать и взять в заложники все земные территории. Мы стали сателлитами наших спутников.

Пространство терроризма не отличается от орбитального пространства контроля. Благодаря спутникам и космическим полетам, как гражданским, так и военным, планетарное пространство стало mise en abyme [принцип матрешки], застыло в неопределенной неизбежности, как заложник в пространстве своего удержания: в буквальном смысле восхищенный [ex-stasié] для того, чтобы в дальнейшем быть уничтоженным [exterminé]*.

Поскольку существует пространство терроризма, существует и циркуляция заложников. Каждый следующий захват заложников, каждый террористический акт является ответом на предыдущий, поэтому создается впечатление, что на глобальном уровне разворачивается цепная реакция, серия трансполитических актов терроризма (в то время как на политической сцене такой цепной реакции не наблюдается совершенно), будто непрерывное круговое движение, также орбитальное, которое переносит с одного места планеты в другое своего рода жертвенную информацию, будто система взаимного церемониального обмена Кула между островами Меланезии.

Ничто не походит более на этот выпуск в обращение заложников, эту абсолютную форму человеческой конвертабельности, *эту чистую форму невозможного обмена*, чем обращение евро- и нефтедолларов и других плавающих валют, которые

---

* Абстракция орбитального контроля не должна от нас скрывать то, что это равновесие страха (террора) присутствует и на инфинитезимальном индивидуальном уровне: *нас сделали ответственными за тот порядок, который царит в нас.* Если этот порядок окажется под серьезной угрозой, мы психологически запрограммированы на самоуничтожение...

настолько детерриториализированны, настолько за пределами золотого эквивалента и национальных валют, что на самом деле они практически вообще не обмениваются, а переливаются друг в друга в орбитальном цикле, олицетворяя абстрактный бред невозможного глобального обмена так же, как искусственные спутники Земли воплощают абстрактный бред трансцендентности и контроля. А *чистую форму невозможности войны* олицетворяют орбитальные ядерные боеголовки.

Мы все заложники, и все мы террористы. Эта схема заменила предыдущую схему господ и рабов, тех, которые господствуют, и тех, над кем господствуют, эксплуататоров и эксплуатируемых. Конец констелляции[54] раба и пролетария — начало констелляции заложника и террориста. Конец констелляции отчуждения — начало констелляции террора. Это худшая из всех констелляций, но она, по крайней мере, освобождает нас от либеральной ностальгии и уловок истории. Начинается эра трансполитического.

Не только в «политической», но и во всех сферах мы пришли к констелляции шантажа. Повсеместно бессмысленное усиление ответственности выполняет функцию сдерживания.

Включая даже нашу собственную идентичность, заложниками которой мы являемся: от нас требуют принять ее, требуют, чтобы мы головой отвечали за нее (в таком случае это называется социальной безопасностью), требуют быть самим собой, разговаривать, добиваться, реализовать себя — под страхом... под страхом чего? Это провокация. В отличие от соблазна, который позволяет вещам ра-

зыгрываться и появляться в тайне дуальности[55] и амбивалентности, она не дает вам свободу быть, она провоцирует вас на свободу быть самим собой. Это всегда является шантажом идентичностью (а следовательно, и символическим убийством, потому что вы всегда *не тот*, кем вас вынуждают быть).

К тому же порядку принадлежит и вся сфера манипуляции. Манипуляция — это мягкая технология насилия шантажом. А шантаж всегда осуществляется путем захвата заложника вместе с частицей чего-то другого — тайны, аффекта, желания, удовольствия, его страдания и его смерти, — именно так нас вовлекают в манипуляцию (охватывающую всю психологическую плоскость), это способ вызывать с помощью навязывания принудительную потребность, эквивалентную насущной.

В межличностном режиме потребности (в противоположность любви, страсти или соблазну) мы испытываем аффективный шантаж, то есть являемся аффективными заложниками других: «Если не дашь мне этого, то будешь отвечать за мою депрессию; если не любишь меня, то будешь отвечать за мою смерть» и, конечно же: «Если не дашь себя любить, то будешь отвечать за собственную смерть». В общем, истерический захват — требование и вымогательство *ответа*.

Если вы не хотите стать заложником, возьмите в заложники другого. Не стесняйтесь. Так или иначе, это всеобщее правило, общее состояние. Единственное состояние трансполитического — это массы. Единственный трансполитический акт — это терроризм, то, что обнаруживает нищету трансполи-

тического и при этом влечет экстремальные последствия. И это, к несчастью для нашего критического ума, верно со всех сторон. В захвате заложников нет ни месседжа, ни смысла, ни политической целесообразности. Это событие без последствий (и всегда ведет в тупик). Но разве политические события не представляют сами по себе что-либо иное, кроме искаженной последовательности? Интересно лишь нарушение последовательности. Некогда оно выступало в роли революции, сегодня сводится к спецэффектам. И терроризм сам по себе всего лишь гигантский спецэффект.

Однако это не из-за отсутствия воли к смыслу. В противоположность всеобщей транспарентности, терроризм требует от вещей вновь обрести свой смысл, но лишь через акселерацию смертного приговора и индифферентности. Впрочем, эффект его довольно своеобразен, чтобы его можно было отличить и противопоставить другим как катастрофическую форму транспарентности, как кристальную, интенсивную форму — в противоположность всем тем экстенсивным формам, которые нас окружают. Он является отражением той дилеммы, в которой все мы, к сожалению, пребываем, и, вероятно, нет никакого решения проблемы *незримого* распространения террора в его *зримой интенсификации.*

Сегодня революция происходит уже не через диалектическую трансценденцию вещей *(Aufhebung)*, а благодаря их потенциализации, возведению их в квадрат, в энную степень, будь то терроризм, ирония или симуляция. То, что происходит, это уже не диалектика — это экстаз. Так

терроризм — *экстатическая* форма насилия, государство — экстатическая форма общественного устройства, порно — экстатическая форма секса, обсценность — экстатическая форма сцены и т.д. Кажется, что вещи, потеряв свою критическую и диалектическую детерминацию, способны лишь удваиваться в своей обостренной и транспарентной форме. Как в случае с «чистой войной» Вирильо: экстаз ирреальной войны, вероятной и повсеместно присутствующей. Освоение космоса также является mise en abyme [принцип матрешки] нынешнего мира. Повсюду распространяется вирус потенциализации и mise en abyme, увлекая нас в экстаз, который является, кроме того, и экстазом безразличия.

Терроризм и захват заложников можно было бы считать политическим актом, если бы его осуществляли только угнетенные, находящиеся в отчаянии (очевидно, в некоторых случаях так оно и есть). Но фактически он стал нормой поведения, широко распространенной среди всех наций и всех слоев населения. Вот почему СССР не ликвидирует Сахарова, вот почему не захватывает Афганистан: и Сахарова, и Афганистан он берет в заложники. «Если вы нарушите баланс сил, то я ужесточу холодную войну...» Олимпийские игры (1980) для Соединенных Штатов служат заложником против СССР: «Если вы не сдаете позиции, то Игр не будет...» Нефть для стран-нефтедобытчиков служит заложником против Запада. И в данной ситуации нет никого смысла сокрушаться о правах человека и обо всем прочем. Мы уже далеки от этого, и те, кто берет заложников, только открыто выражают истину систе-

мы сдерживания (которую мы противопоставляем системе морали).

В более широком плане, все мы еще и заложники социального: «Если вы не участвуете, если не управляете своим собственным денежным капиталом, здоровьем, желанием... Если вы не социализируетесь, вы разрушаете сами себя». Гротескная идея взять самого себя в заложники, чтобы добиться собственных требований, не настолько уж и оригинальна, ведь это акт, к которому прибегают «безумцы», которые, оказавшись в окружении, сопротивляются до смерти.

Шантаж хуже запрета. Сдерживание хуже наказания. Устрашение (сдерживание) более не подразумевает: «Ты не сделаешь этого», оно подразумевает: «Если ты не делаешь этого, то...» Впрочем, на этом оно и останавливается — угрожающая вероятность в состоянии саспенса. В этом саспенсе и состоит все искусство шантажа и манипуляции — «саспенс» и есть специфика террора (так и захваченный заложник не приговорен, он в подвешенном состоянии: суспензирован на срок, от него не зависящий). Излишне говорить, что таким образом мы коллективно испытываем ядерный шантаж, не прямую угрозу, а *шантаж* ядерным оружием, которое, строго говоря, является не системой уничтожения, а средством планетарной манипуляции.

Это создает тип отношений и управления, совершенно отличный от тех, в основе которых лежало насилие запрета. Ведь запрет имел свою референцию и определенный объект, а значит, была возможна трансгрессия[56]. Тогда как шантаж — это намек, в его основе нет ни императива, ни требования

закона (стоило бы придумать способ сдерживания, в основе которого лежали бы *не*-требование закона и плавающая реторсия[57]), он просто играет на загадочной форме террора.

Террор обсценен, потому что он кладет конец сцене запрета и насилия, которые, по крайней мере, были для нас привычными.

Шантаж обсценен, потому что кладет конец сцене обмена.

Да и сам заложник обсценен. Обсценен, потому что ничего больше не репрезентирует (это само определение обсценности). Он находится в состоянии чистой и простой эксгибиции. Чистый объект, без образа. Прекративший существование еще до своей смерти. Застывший в состоянии исчезновения. Так сказать, криогенезированный.

В этом и состояла победа «Красных бригад»[58], когда они похитили Альдо Моро: выведя его из игры (при попустительстве христианских демократов, которые поспешили отказаться от него), показать, что он ничего не репрезентирует, и в результате превратить его в нулевой эквивалент государства. Власть, редуцированная таким образом до своих анонимных останков, стоит не больше, чем труп, и может кончить багажником автомобиля, постыдным для всех образом, а также обсценным, как не имеющая никакого смысла (при традиционном политическом порядке принца или короля никогда не взяли бы в заложники: в случае необходимости их убивали, но, даже будучи мертвыми, они источали власть).

Обсценность заложника подтверждается невозможностью избавиться от него («Красные бригады»

убедились в этом в случае с Моро). Это обсценность того, *кто уже мертв*, — вот почему он политически непригоден. Обсценный благодаря собственному исчезновению, он становится зеркалом зримой обсценности власти (в этом «Красные бригады» отлично преуспели, но смерть их заложника, напротив, была весьма проблематична, ведь если верно, что нет никакого смысла в умирании и надо знать способ исчезновения, то верно и то, что *в убийстве тоже нет смысла и надо знать, как заставить исчезнуть*).

Вспомните судью Д'Урсо, которого нашли в машине связанного и с кляпом во рту — не мертвого, зато в наушниках, из которых на полную мощность звучала симфоническая музыка: транзисторизированного. Срань господня [Merde sacrée], которую каждый раз «Красным бригадам» удавалось швырнуть под ноги Коммунистической партии.

В противоположность скрытому терроризму, который осуществляется как жертвоприношение и ритуал, эта обсценность, это эксгибиционистское влечение терроризма объясняет его сходство с масс-медиа, ведь они сами являются обсценной стадией информации. Как говорится, без медиа не было бы и терроризма. И это верно, что терроризм не существует сам по себе как самобытный политический акт, он является заложником СМИ, так же как и они являются заложниками терроризма.

Нет конца этому цепному шантажу: каждый является заложником каждого, это конец конца тех отношений, которые называют «социальными». Впрочем, за этим всем стоит еще один фактор, который является как бы матрицей этого кругового шанта-

жа, — это массы, без которых не было бы ни масс-медиа, ни терроризма.

Массы являются абсолютным прототипом заложника, вещью, которую взяли в заложники, то есть массы, аннулированные в своем суверенитете, упраздненные и несуществующие как субъект, однако — внимание! — коренным образом *неспособные обмениваться как объект*. Как и заложник, они ни на что не годятся, и неизвестно, как от них избавиться. Такова и незабываемая месть заложника, и незабываемая месть масс. Такова фатальность манипуляции, которая и сама не может быть стратегией, и заменить ее собой тоже не может.

Разве что в силу ностальгии мы еще различаем манипулирующий актив и манипулируемый пассив, перенося таким образом прежние отношения господства и насилия в новую эру мягких технологий. Взять хотя бы одну из фигур манипуляции, минимальную единицу вопрос-ответ в интервью, соцопросах и других формах направленного запроса: разумеется, ответ индуцирован вопросом, но тот, кто спрашивает, не имеет большей самостоятельности — он может ставить только такие вопросы, которые способны получить зацикленный ответ, поэтому точно так же заключен в этот замкнутый круг. С его стороны не может быть никакой стратегии, потому что манипуляция идет с обеих сторон. Игра здесь с равными шансами или скорее с одинаково нулевыми ставками.

Случай с Моро был отличным примером этой стратегии с нулевым итогом, черным ящиком которой выступают медиа, а усилителем — инертные и завороженные массы. Гигантский цикл с четырьмя

протагонистами, где циркулирует неподдающаяся обнаружению ответственность. Вращающаяся сцена трансполитического.

Сквозь смутную персону Моро просвечивает пустое, отсутствующее государство (власть, которая пронизывает, но не достигает нас, власть, которую пронизываем мы, но не достигаем ее), которое взяли в заложники также нелегальные и смутные террористы, при этом обе стороны безнадежно имитируют власть и контрвласть. Смерть Моро из-за невозможности договориться означает невозможность переговоров между двумя партнерами, находящимися на самом деле в заложниках друг у друга, как это происходит и во всей системе неограниченной ответственности. (Традиционное общество было *обществом ограниченной ответственности* и именно благодаря этому могло функционировать — в обществе безграничной ответственности, то есть там, где стороны обмена уже ничего не обменивают, но непрестанно сменяют друг друга, все просто вращается вокруг себя, производя лишь эффекты головокружения и фасцинации. Надо сказать, что Италия, которая уже подарила миру наиболее шикарные театральные постановки, Ренессанс, Венецию, Церковь, трехмерное изображение, оперу, благодаря зрелищу терроризма вновь преподносит нам сегодня, при соучастии всего итальянского общества, самый изобретательный и самый причудливый сериал: terrorismo dell'arte!)

С похищением судьи Д'Урсо все приобретает другой оборот. Не официальное государство против нелегальных и свободных террористов, а заключенные террористы, произведенные в судьи в застен-

ках свих тюрем (в то время как судья Д'Урсо символически разжалован до роли заключенного) против замалчивания информации (СМИ делали вид, будто их не существует). Изменились полюса: заключенные террористы, так сказать освободившись от секретности, ведут переговоры уже не с политическим классом, а с классом «медийным».

В действительности же здесь также становится очевидным, что:

- не о чем вести переговоры: тексты, распространения которых добиваются «Красные бригады», политически смешны, более того, это секрет Полишинеля;
- так же как «Красные бригады» не знают, что делать с их заложником, так и государство не знает, что ему делать с заключенными террористами, которые в тюрьмах еще более неудобны, чем в подполье.

Остается эффект обращающейся ответственности, в создании которого преуспели «Красные бригады», — государство, политический класс и СМИ сами оказываются ответственными за возможную смерть Д'Урсо так же, как и террористы. Распространение максимальной ответственности впустую равносильно всплеску всеобщей безответственности, а следовательно, и нарушению общественного договора. Правила политической игры отменяются не посредством совершения собственно насилия, а через обезумевшую циркуляцию акций [террора] и ответов на них, через циркуляцию причин и следствий, через принудительную циркуляцию таких государственных ценностей, как насилие, ответственность, справедливость и т.д.

Это давление фатально для политической сцены. Оно сопровождается скрытым ультиматумом, который звучит примерно так: «Какую цену вы готовы заплатить, чтобы избавиться от терроризма?» Здесь подразумевается следующее: терроризм все же меньшее зло, чем полицейское государство, способное покончить с ним. И вполне возможно, что втайне мы принимаем это фантастическое предложение, и для этого не требуется «политической сознательности», ведь секрет равновесия страха (террора) позволяет нам угадать, что спазматический всплеск насилия предпочтительнее, чем его рациональное осуществление в рамках государства, чем его тотальное предупреждение ценой тотального программируемого засилья.

Во всяком случае, желательно, чтобы что-то уравновешивало государство в его всемогуществе. Если посредничество, которое гарантировало это относительное равновесие, исчезло вместе с правилами политической игры, если исчез общественный договор вместе с возможностью каждого обнаружить себя в социальном отношении, то есть возможностью спонтанно пожертвовать частицей своей свободы ради коллективного блага, поскольку государство уже фактически взяло все это на себя (и это также конец обмена: индивид не может уже *вести переговоры* даже о частице своей свободы и выступает заложником, живым ручательством), тогда государство неизбежно, по мере исчезновения с политической сцены, порождает радикальную и вместе с тем фантазматическую форму дискуссии: призрак терроризма играет в ту же игру, что и государство, и государство заключает с тер-

роризмом нечто вроде нового, перверсивного[59], общественного договора.

В любом случае, этот ультиматум оставляет государство без ответа, ведь ответ в итоге делает его еще более террористическим, чем террористы. А также ставит СМИ перед неразрешимой дилеммой: если вы более не желаете терроризма, то нужно отказаться от самой информации.

Проблема заложника крайне интересна, поскольку ставит проблему необменности. Обмен — это наш основной принцип, и он имеет свои правила. Отныне мы живем в обществе, где обмен становится все более невозможным, где все меньше вещей могут быть реальным предметом переговоров, потому что утрачены правила переговоров или же потому что обмен, став обобщенным[60], породил неподвластные для обмена объекты, которые и стали настоящими ставками в этой игре.

Мы переживаем конец обмена. Но лишь обмен ограждал нас от нашей судьбы. Там, где обмен уже невозможен, мы оказываемся в фатальной ситуации, роковой.

Необменное — это чистый объект, то, чем невозможно ни обладать, ни обменивать. Нечто вроде драгоценности, которую невозможно сбыть. То, что жжет руки, но чем нельзя торговаться. То, что можно уничтожить, но то, что будет мстить. Эту роль всегда играет труп. А также красота. И фетиш. То, что не имеет никакой ценности, но то, что бесценно. Это бесполезный объект и вместе с тем совершенно уникальный, не имеющий аналогов, так сказать, сакральный.

Заложник воплощает в себе два качества: это аннулированный упраздненный анонимный объект

и в то же время совершенно не похожий ни на что исключительный объект высокой интенсивности, опасный, несравненный (такой же опасный, как и террорист: спросите у лиц, ответственных за освобождение заложников, не проникаются ли те благодаря самому его существованию, самому его присутствию тем самым террором, что и террористы, — более того, для устранения ситуации ликвидация заложников объективно равна ликвидации террористов: правительственные структуры выбирают то первый, то второй вариант, в зависимости от обстановки).

По всем этим причинам, заложник втайне уже не является предметом переговоров. Как раз благодаря этой своей абсолютной конвертабельности. Никакая иная ситуация не представляет собой этот парадокс до такой степени: вырванный из циркуляции обмена, заложник становится способным обмениваться на что угодно. Став сакральным благодаря изъятию, благодаря радикальной чрезвычайной ситуации, в которой он находится, заложник становится фантастическим эквивалентом всего остального.

Заложник близок к фетишу или талисману — предмету, который также вырвали из глобального контекста, чтобы сделать центром сингулярного[61] действия — действия всемогущества мысли. Игра, в особенности азартная, не стремится к чему-либо иному: деньги, изъятые из оборота и предназначенные на растрату, становятся ставкой необычайной конвертабельности, воображаемого, представляемого приумножения, которое возможно лишь тогда, когда деньги принимают форму чистого объекта, абсолютно искусственного: фактиса, фетиша.

Но известно, что фетиш невозможно возвратить в обыденный мир (ведь это устраняет всемогущество мысли), а игровые деньги невозможно вернуть в экономический оборот — это тайный закон иной системы обращения. Так же и заложника очень тяжело конвертировать в наличный или политический капитал. В этом и состоит иллюзия террориста, — террористическая иллюзия вообще: *обмен никогда не происходит, обмен невозможен*, — кстати, точно как и в случае с пытками, когда страдания пытаемого не конвертируются ни в политическую выгоду, ни даже в удовольствие для палача. Так и террорист никогда не может по-настоящему реконвертировать заложника, он, так сказать, слишком резко вырвал его из реальности, чтобы было возможным вернуть назад.

Захват заложников является одновременно и отчаянной попыткой радикализировать соотношение сил и восстановить обмен на высшем уровне, благодаря похищению и исчезновению придать объекту или индивиду бесценную ценность (а значит, и абсолютную раритетность), и парадоксальным провалом этой попытки, потому что похищение равносильно упразднению субъекта, его меновая стоимость обваливается в руках самих террористов.

Кроме того, в сложившейся ситуации система очень быстро замечает, что может функционировать и без этого индивида (например, Моро) и что, определенным образом, лучше вообще не спасать его, потому что освобожденный заложник еще опаснее, чем мертвый: он заражен, единственное его свойство — в этом зловещем заражении (это была бы удачная стратегия «Красных бригад»: аннулиро-

вав Моро как государственного деятеля, вновь вернуть его в игру как живого мертвеца, который уже никому не нужен, как крапленую [зараженную] карту, которая испортила бы всю политическую колоду. И тогда уже другим надо было бы как-то от него избавляться).

Если конвертабельность невозможна, то получается, что в итоге террорист всегда обменивает лишь собственную жизнь на жизнь заложника. И этим объясняется то странное соучастие, которое в конце концов их объединяет. Насильственно изымая заложника из ценностного обращения, террорист так же и сам себя изымает из переговорного обращения. Они оба вне обращения, сообщники в своем чрезвычайном положении, и то, что между ними устанавливается, кроме невозможности конвертабельности, так это *дуальная* форма, форма соблазна, возможно, единственная современная форма совместной смерти, и при этом крайняя форма ничего не значащей смерти — необменной, потому что ничего не значит.

Или же стоит признать, что захват заложников никогда не преследует цель переговоров: *он порождает необменность*. И «как от него избавиться» является ложной проблемой. Оригинальность ситуации в ее неразрешимости. Нужно рассматривать терроризм как утопический акт, который, провозглашая необменность насильственным способом, одновременно опытным путем демонстрирует невозможность обмена и экстремальным образом подтверждает банальность нашей ситуации, заключающейся в исторической потере сцены обмена, правил обмена, общественного договора. Ибо где

же отныне другой, с кем вести переговоры об остатках свободы и суверенитета, с кем вести игру субъективности и отчуждения, с кем соотносить свое отражение в зеркале?

То, что исчезло, так это старая добрая взаимодополняемость взаимоотношений, старое доброе инвестирование субъекта в соглашение и рациональный обмен, основание одновременно для взаимовыгодности и надежности. Все это уступило место чрезвычайной ситуации, бессмысленной спекуляции, которая больше похожа на дуэль или провокацию. Захват заложников является спекуляцией этого порядка — эфемерен, бессмысленен, однократен. Поэтому в нем нет политической сущности, он подобен чему-то вроде мечты о фантастической сделке — о невозможном обмене — и одновременно разоблачению невозможности обмена.

Обсценное

Все эти формы, проявляющиеся через обостряющуюся безразличность, сгущающуюся пустоту, ожирение, террор, также являются и формами утраты иллюзии, игры и сцены, а следовательно, формами ОБСЦЕННОГО.

Потеря сцены тела в ожирении, потеря сцены обмена в заложничестве, потеря сцены секса в обсценности и т.д. Но также потеря сцены социального, политического, театральной сцены. Повсеместно потеря тайны, дистанции и силы иллюзии.

Полностью забыта та форма суверенности, которая заключается в действии симулякров как таковых. Но культура всегда была лишь коллективным

распределением симулякров, которому сегодня противопоставляется принудительное разделение реальности и смысла. Единственная суверенность заключается в господстве кажимостей, единственное согласие — в коллективном распределении иллюзии и тайны.

Все то, что забывает эту сцену и это господство иллюзии и проистекает из простой гипотезы господства реального, впадает в обсценное. Способ появления иллюзии — это сцена, способ появления реального — обсценность.

Существует террор и одновременно фасцинация от него, бесконечное порождение того же самого тем же самым. Эта одновременность идет от естественности, она является натуральным смешением вещей, и только искусственность может положить конец этому смешению. Только искусственное может устранить эту недифференцированность, это спаривание того же самого с тем же самым.

Нет ничего хуже более подлинного, чем подлинное. Такое как клон или робот в истории иллюзионизма. В последнем случае ужасно не исчезновение естественного в совершенстве искусственного (изготовленный иллюзионистом автомат настолько безупречно подражает всем человеческим движениям, что уже ничем не отличается и от самого иллюзиониста), напротив, ужасно *исчезновение искусственного* в очевидности естественного. Что-то вроде невыносимого позора. Эта недифференцированность отсылает нас к ужасающей естественности. Вот почему иллюзионист вместо полностью реалистичного робота производит подделку с немного неуклюжими механическими движениями,

противопоставляя таким образом ужасу подобия игру и силу иллюзии.

То, что уже не создает иллюзии, мертво и внушает ужас. Таков труп, но также и клон, а если взять более широко, то таковым является все, что настолько совпадает с самим собой, что уже не способно даже разыгрывать свою собственную кажимость. Предел разрушения иллюзии — это предел смерти.

Против истины истинного, против более подлинного, чем подлинное (что сразу же оборачивается порнографией), против обсценности очевидного, против отвратительного промискуитета[62] с самим собой, что называется подобием, нужно возродить иллюзию, отыскать иллюзию, ту одновременно имморальную и пагубную возможность *оторвать то же самое от того же самого*, что называется соблазном. Соблазн против ужаса (террора): такова ставка, и другой быть не может.

Исчезновение всякой сцены, всякой возможности иллюзии, исчезновение дистанции, той дистанции, которая поддерживается церемониалом или правилами игры, — торжество промискуитета во всех сферах. Эротизация, сексуализация являются лишь выражением этого смешения, этой перепутанности всех ролей. Психология, в частности, всегда двусмысленная и неудовлетворительная, что связано с потерей отчетливого сценического пространства и правил игры. «Другая сцена», сцена бессознательного и фантазма, не может компенсировать утраченную фундаментальную сцену, которой была сцена иллюзии.

Иллюзия не является ложной, потому что использует не ложные, а бессмысленные знаки. Именно

поэтому она разочаровывает наше требование смысла, но очаровательным способом.

Так же действует и образ (поистине демон, который заполонил весь мир), ведь у него два измерения, а следовательно, он всегда изящнее и соблазнительней, чем реальность. Так же действует и оптическая иллюзия: добавляя к картине иллюзию реальности, она, в определенном смысле, является более обманчивой, чем обман, — это симулякр второй степени.

Соблазн также обманчивее, чем обман, потому что использует знаки, которые уже являются подобиями, чтобы заставить их потерять их смысл, — он не щадит ни знаки, ни людей. Кто никогда не терял смысла — слова или взгляда, — тот не знает, что это за утрата, утрата предаваться полной иллюзии знаков, непосредственному воздействию кажимостей, то есть что такое выйти за пределы обмана, шагнув в абсолютную пропасть искусственного.

Обман лишь возбуждает наше чувство истины, более обманчивое, чем обман, ведет нас за пределы, захватывает нас безвозвратно. В реальном мире истинное и ложное уравновешивают друг друга, и то, что приобретает одно, то теряет другое. В ходе соблазна (это касается и произведения искусства) ложное словно бы сияет всей мощью истинного. Так, словно иллюзия засияла бы всей мощью истины. Что мы можем сделать против этого? Нет больше ни реального, ни сигнификации, которая служила бы опорой. Когда форма сияет обратной энергией, когда энергия ложного сияет мощью истины или же Добро сияет энергией Зла, когда, вместо того, чтобы противопоставлять их, нечто вроде свое-

образного анаморфоза[63] управляет транспирацией одной формы в другую, транспирацией одной энергии в энергию обратную (противоположную?), то, что можно противопоставить этому своеобразному перемещению?

В этом восхождении к крайностям действует логика одновременности обратных эффектов. Быть может, следовало бы радикально противопоставить эффекты обсценности эффектам соблазна, но, быть может, следовало бы их совместить и ухватить целое в их неразрывном анаморфозе?

Так в азартной игре поразительным образом разрешается и полная обсценность и таинственная иллюзия ценности.

Игра грандиозна, потому что она является одновременно и местом экстаза ценности, и местом ее исчезновения. Не потому что она трансгрессирует в потлач и расточение — это все еще трансцендентная утопия Батая, последняя мечта политической экономии. Нет, деньги в игре ни создаются, ни уничтожаются, они исчезают как ценность и снова возникают как кажимость, возвращаются к своему чистому появлению в непосредственной обратимости выигрыша и проигрыша.

Обсценность игры тотальна, поскольку здесь нет обращения ни к какой-либо глубине, ни к какой-либо ценности: деньги здесь обнажены, они превратились в чистую циркуляцию, чистую фасцинацию, формальную страсть, в транспарентное наслаждение, холодное и поверхностное. Бестелесная похоть, экстатическая форма ценности.

Но тайна игры также тотальна: она заключается в том, что денег не существует. Такова же и тайна

власти: она заключается в том, что власти не существует — или соблазна: она заключается в том, что желания не существует. Деньги не существуют ни как сущность, ни как субстанция, ни как ценность. И игра выражает это несуществование.

Это полная противоположность политической экономии и обмену, где деньги обременены символическим действием ценности (стоимости). Деньги в игре распределяются как чистый симулякр, они освобождены от любой обсценности, чтобы циркулировать лишь согласно произвольным правилами игры.

Тайна игры заключается в том, что деньги не имеют значения. Они существуют лишь как кажимости. А субстанция ценности улетучивается из них вследствие игры кажимостей и произвольности правил.

Если деньги способны автогенерироваться столь же сумасшедшим образом как приумножение чисел путем простой умственной операции, то это возможно лишь потому, что денег не существует. Как в той игре, где надо запомнить как можно больше слов: заходишь так далеко, что наконец забываешь значение слов.

Речь идет не о потреблении или расходе: чтобы тратить деньги, надо горячо верить в них и в их ценность, как надо горячо верить в закон, чтобы его нарушать. Это *горячая* страсть. В игре ни во что не надо верить, просто владеть тайной, что за пределами возможности их появления и метаморфозы (или, что то же самое, возможности абсолютной игровой симуляции) денег не существует. Это холодная [cool] страсть, форма холодного экстаза. Расчет на

самом деле является ее частью, как и правила, и все, что участвует в диком ритуале кажимостей. Расчет функционирует здесь как прикрытие, и с той же интенсивностью, что и прикрытие. Он регулирует, помимо кажимостей, игру изменчивых божеств, таинственную объективность, скрытую за субъективностью кажимостей.

Но если ложное может быть пронизано всей мощью истинного — такова возвышенная форма иллюзии и соблазна, — то истинное также может быть пронизано всей мощью ложного, и это форма обсценности.

Это и есть обсценное — более истинное, чем истина, переполненность сексом, экстаз секса, чистая и пустая форма, поистине тавтологическая форма сексуальности (лишь тавтология может быть совершенно верной). Это спаривание того же самого с тем же самым. Это секс, охваченный своей собственной эксгибицией, секс, застывший в своем органическом, оргазмическом разрастании, как тело в ожирении, как клетка в раковых метастазах. Не сниженная, карикатурная и упрощенная форма сексуальности, а логическое обострение сексуальной функции, более сексуальной, чем секс, секс, возведенный в степень, — обсценно не совокупление тел, а ментальная избыточность секса, эскалация достоверности, которая ведет к холодному головокружению порнографии.

Но это тот же самый процесс, который приводит к чарующему головокружению соблазна. Полнота, зияющая своей пустотой (слабость порнографической вселенной заключается в поразительном отсутствии чувственности и удовольствия), — вот что

такое обсценное. Исчерпанность чувства (смысла), эфемерность знака, которые выражают предельное удовольствие, — вот что такое соблазн. Но в обоих случаях это свойство, превосходящее само себя и выливающееся в свою чистую форму, в свое экстатическое зияние.

И не только свойство может экстазироваться таким образом, но и отсутствие его: нейтральное тоже может экстатически зиять, нейтральное само по себе может потенциализироваться. Это приводит к неслыханному уродству, значительную часть которого составляет обсценность. Порнография — это не что иное, как искусство эксгибиции нейтрального, усиленное зияние нейтрального.

Обсценность сексуального характера ханжеская и лицемерная, поскольку отвлекает нас от осознания обсценности в ее общем виде. Обсценность характерна для любой формы, которая застывает в своем появлении, которая теряет неопределенность отсутствия, чтобы исчерпаться в чрезмерной явственности.

Более зримое, чем зримое, — такова обсценность.

Незримее, чем незримое, — это тайна.

Сцена принадлежит к порядку зримого. Но нет сцены обсценного, есть лишь расширение явственности всех вещей вплоть до экстаза. *Обсценное является концом любой сцены.* Кроме того, оно является дурным предзнаменованием, как следует из названия. Ведь эта сверхъявность вещей также является неизбежностью их конца, знаком апокалипсиса. Все знаки несут это на себе, а не только инфрасенсорные и бестелесные знаки секса. Вместе

с концом тайны, сверхъявность является нашим фатальным положением. Когда отгаданы все загадки, гаснут звезды. Если все тайное становится явным (и даже больше, чем явным — до неприличия очевидным), если все иллюзии становятся транспарентными, то небо становится безразличным к земле.

Прежде чем исчезнуть, все в нашей культуре сексуализируется. Это уже не сакральное проституирование, а что-то вроде призрачного распутства, которое охватывает всех кумиров, все знаки, институты, дискурсы, — аллюзия, обсценное отклонение, которое захватило все дискурсы, поэтому его следует рассматривать как верный признак их исчезновения.

Это не обсценность, когда сексуальное находится в рамках сексуального, а социальное — в рамках социального и нигде больше. Но сегодня социальное, как и сексуальное, выплескивается за собственные пределы: о социальных «отношениях» говорится как об «отношениях» сексуальных. Это уже не мифическая трансцендентная социальность, а жалкая социальность примирения, контакта (наподобие контактных линз), протезирования, перестрахования. Это *траурное* социальное утраты, бесконечная галлюцинация утраченной детерминации, которая преследует социальные группы. Группа озабочена социально, как индивид — сексуально, и вместе они сексуально одержимы их исчезновением.

Все мы сегодня социальные работники. Что же это за социальное, которое является всего лишь работой? Социальное, которое уже не верит даже

в собственное фактическое или правовое существование, которое верит лишь в собственное принудительное воспроизводство в условиях рынка, где оно, как и любой товар, оказывается подчиненным законам спроса, производства и обмена? Вплоть до рекламы, потому что социальное именно рекламирует себя повсюду — в медиа, идеологии и дискурсах.

В мире, где в процессе исчезновения находится энергия общественной жизни, энергия социального как мифа и как иллюзии (интенсивность которой максимальна в утопиях), социальное становится уродливым и ожиревшим, оно увеличивается как женская грудь, рыхлое и железистое, — когда-то социальное прославлялось своими героями, а сегодня оно стало огромным предприятием терапевтической опеки и отмечается своими калеками, психами, дегенератами, дебилами и асоциалами.

Социальное существует лишь в определенных границах, там, где оно выступает как ставка, как миф, можно сказать, почти как судьба, как вызов, но не как реальность, потому что в этом случае оно исчезает в игре спроса и предложения. Тело также исчезает в игре сексуального спроса и предложения, также теряет то мифическое свойство, которое делает из него объект соблазна...

Что касается социального, то сегодня, можно сказать, его обсценность реализована полностью, это обсценность трупа, от которого неизвестно как избавиться, точнее, трупа, который уже вошел в отвратительную стадию разложения. Прежде чем иссохнуть и обрести красоту смерти, тело проходит через эту поистине обсценную стадию, и именно

поэтому его нужно во что бы то ни стало заклясть и освятить, ведь оно уже ничего не репрезентирует, у него нет даже имени, и оно распространяет свое отвратительное разложение повсюду. Все то, что требует своего вещественного [objective], то есть сниженного [abjecte], присутствия, все, что больше не имеет в себе ни тайны, ни легкости отсутствия, — все, что как тело разложению, предано единственно материальному процессу своей декомпозиции; все, что, лишено даже возможности иллюзии, предано единственно процессу реального; все, что, обезличено, без прикрытия, без прикрас, предано чистому процессу секса или смерти, — все это можно назвать обсценным и порнографическим.

Многое обсценно, потому что имеет слишком много смысла, потому что занимает слишком много места. Таким образом, многое достигает запредельной репрезентации истины, то есть апогея симулякра.

Когда все является политическим, то это конец политики как судьбы, это — начало политики как культуры и немедленный упадок этой политической культуры.

Когда все становится культурным, то это конец культуры как судьбы, начало культуры как политики и немедленный упадок этой культурной политики.

Так же и с социальным, историей, экономикой, сексом.

Момент максимального расширения этих некогда раздельных и конкретных категорий означает момент их банализации и вхождения в сферу трансполитического, что является началом их исчезнове-

ния. Конец фатальных стратегий — начало банальных стратегий.

Утверждение, что тело, спорт, мода являются политическим, считалось субверсивным открытием. Но тем самым, фактически, лишь ускорилась (усилилась?) неразличимость этих явлений в аналитической и идеологической мгле — это все равно как открыть то, что все болезни являются психосоматическими. Чудесное открытие, которое ничего не дает, лишь сводит их к категории еще более плохо определенной.

Очевидность всего, проистекающая из обобщений такого рода — политическая, культурная, социальная, сексуальная, психологическая, — означает подписание всему этому смертного приговора. Симптомом этого является междисциплинарность во всех ее проявлениях: каждая дисциплина равняется на выродившиеся концепты другой дисциплины.

В этом смешении концептов и категорий, подобном смешению и промискуитету рас и народов, возможно, следовало бы подумать о барочном эффекте трансфигурации — том, что наблюдается в США через насилие безразличия, насилие наложения, насилие промискуитета, — новая сцена обсценного. Но в таком случае обсценность является как бы трансфигурацией посредством ускорения корпускулярной скорости тел, знаков и образов.

Обсценность принимает все личины модерности[64]. Мы привыкли видеть ее, прежде всего, в сексуальном преступлении, но она распространяется на все, что можно преступить на виду, — обсценность является преступлением самого видимого. Кровожадное проституирование — наподобие не-

которых гиперреальных кадров из Южной Америки, — когда садистское насилие на экране реально совершается при съемке. Кровожадное извращение? С уверенностью утверждать нельзя, потому что это напрямую связано с фантазмом полного восстановления реального, воскрешением деталей, что характерно как для порно, так и для ретро, в регистре минувшего, или же «воссозданного» и «пережитого», в регистре жизни, как она есть.

Порно имеет целью достоверное воссоздание секса, ретро имеет целью достоверное воссоздание событий, культурных особенностей, исторических фигур. Галлюцинирование в деталях, очищенное от всякой ностальгии силой чрезвычайной точности знаков. Это реальное *вымогательство*: все загоняется в реальное и там насильно сигнифицируется. И возможно, нет ничего «достоверного» за исключением того, что выставлено в слишком ярком свете, со слишком высоким коэффициентом точности.

Таким образом получается, что любое реальное отныне перешло в гиперреальность порно, любое теперешнее обернулось ретро, любая простенькая мелодия смысла превратилась в стереофонию сигналов, которые убаюкивают нас.

Это обсценность всего того, что беспрестанно снимается, фильтруется, пересматривается и корректируется под широкоугольным объективом социальности, нравственности и информации.

Это люди, у которых вымогают их жизнь по телевидению, это вся исконная Франция, от которой требуют признания и публичной исповеди, даже животных привлекают к образовательному шантажу: раньше можно было наблюдать роды жирафа

в прямом эфире — что за прелесть! — а сегодня передача идет в школе, и мы наблюдаем за животными с детскими комментариями и т.д. Любой фильм будет демонстрироваться только после бесполезной и глупой дискуссии: мягкая технология культуры, жесткая социализация, ползучая обсценность непрерывного социального комментария.

Опрос, привлечение общественного внимания, включенность, таргетинг, контакт, взаимосвязанность — все это терминология *чистой обсценности*, испражнения [déjection], непрерывного выделения [abjection]. Это обсценность модификации, это дикая ликвидность знаков, ценностей, это тотальная экстраверсия поведения в сторону операциональности... Чистая и обезличенная обсценность опросов общественного мнения и статистики — массы должны раскрыть свою тайну, даже если ее у них нет. Весь мир должен раскрыть свою тайну, преодолеть порог молчания и войти в имманентное пространство коммуникации, туда, где стирается даже минимальное пространство взгляда. Что бы ни говорили, но взгляд никогда не является обсценным. Напротив, обсценное то, что больше неподвластно взгляду, а следовательно, и соблазну, то, живое оно или неживое, что больше не может быть охвачено минимальным соблазном взгляда, и обнаженное, безо всякой тайны, обречено на немедленное поглощение.

Обсценность — это абсолютная близость наблюдаемой вещи, погружение взгляда в экран обозрения, гипервизия крупным планом, пространство без дистанции, полный промискуитет взгляда с тем, что видится. Проституирование взгляда.

Мы, в особенности западные люди, воспринимаем лица, словно половые органы, в их психологической обнаженности, в их аффектации истины и желания. Лишенные масок, знаков, церемониала, они зияют, по сути, обсценностью своего вымогательства. И мы подчиняемся зову этой неподдающейся обнаружению истины, тратим всю нашу энергию на декодирование пустоты. Лишь кажимости, а именно *знаки, которые не позволяют фильтровать смысл*, защищают нас от этого излучения, от этого рассеяния сущности в пустом пространстве истины.

Лицо, лишенное своих кажимостей, является лишь половым органом, тело, лишенное своих кажимостей, голо и обсценно (хотя нагота может облечь тело и защитить его от обсценности).

Конечно, невозможно полностью лишить тело или лицо их кажимостей и предать их чистому вожделению взгляда, лишить их ауры и предать чистому вожделению желания, лишить их тайны и предать чистому процессу декодирования. Но не стоит недооценивать силу обсценного, его способность уничтожать всякую неоднозначность и всякий соблазн и предавать нас бесповоротной фасцинации безликих тел, безглазых лиц и безвзглядных глаз. Впрочем, быть может, это нас и притягивает прежде всего: абсолютно экстатический и обсценный мир чистых объектов, которые просвечивают друг сквозь друга и которые расщепляются друг на друга, как чистейшие атомные ядра достоверности.

Эта обсценность сносит собой все, что осталось от иллюзии глубины, и последний вопрос, который можно еще задать разоблаченному миру, звучит так: есть ли в нем скрытый смысл? Когда все сверх-

сигнифицировано, становится неуловимым сам смысл. Когда все ценности переэкспонированы в каком-то экстазе безразличия (в частности, социальное в социализме современной Франции), то само доверие к таким ценностям уничтожается.

Так, например, быть может со стороны традиционной порнографии имелась своего рода уловка. По сути, порно говорит: настоящий секс где-то существует, потому что я карикатура на него. И какая-то мера существует, потому что я ее эксцесс. Но весь вопрос в том, существует ли где-то настоящий секс, секс как идеальная ценность тела, как «желание», которое необходимо высвободить? Действительное состояние вещей, состояние полной открытости секса, отвечает: нет. Секс может быть совершенно высвобожденным, совершенно прозрачным и без желания, и без удовольствия (и при этом функционировать).

Тот же вопрос ставится и перед политической экономией: вне меновой стоимости, воплощающей абстрактность и бесчеловечность капитализма, существует ли настоящая субстанция стоимости (ценности), идеальная потребительная стоимость товара, которую можно и нужно высвободить? Хорошо известно, что нет, что потребительная стоимость исчезла с горизонта меновой стоимости и является всего лишь парадоксальной мечтой политэкономии.

Тот же самый вопрос встает и перед социальным: вне этой террористической и гиперреальной социальности, этого вездесущего шантажа коммуникации существует ли настоящая субстанция социального, идеальность социальных отношений, которую можно и нужно высвободить? Совершенно

очевидно, что нет: равновесие, гармония некого общественного договора исчезла с исторического горизонта, и мы обречены на чистую обсценность модификации. И не надо думать, будто мы переживаем реализацию скверной утопии, — нет, мы переживаем реализацию утопии как таковой, то есть ее крах в реальности.

То же самое происходит с театром и сценической иллюзией.

Барочный театр еще имел в себе некую экстравагантность репрезентации. Полная сценическая иллюзия, неотделимая от гуляний, игры фонтанов, фейерверков, механических ухищрений (серьезная техническая механика зародилась в процессе производства театральной иллюзии). Как и сверстница симулякра — оптическая иллюзия, более реальное, чем реальное, но без стремления перепутаться с ним, наоборот: благодаря механизмам, артефактам, технологии и подделкам *реальному бросали вызов согласно его же собственным правилам*. То же самое и с перспективой в живописи и архитектуре XVI—XVII веков — ее использование часто имело иллюзионистский и оперный характер. Оставалась инсценировка, стратегия кажимостей, но не реального, — иллюзия сохраняла всю свою власть, не раскрывая своей тайны (которой нет).

И все же от нее добились признания. Театр поймали в ловушку репрезентации. Начиная с XVIII века, его нагружают «реальным», сцена отдаляется от механической и метафизической симуляции иллюзии, и ее захватывает натуралистическая форма. Престиж метаморфозы сменяется на сцене скромным обаянием трансцендентности. Наступает *крити-*

ческая эра театра, сверстница социальных антагонизмов, психологических конфликтов, критическая эра реального в целом.

И все же на уровне этой репрезентации остается какой-то смысл. Театр, который уже утратил энергию метаморфозы и сакральный эффект иллюзии, сохраняет критическую энергию и некое кощунственное очарование — сюда относится разделение на сцену и зрительный зал, что тоже является критической формой, деление пространства трансцендентности и здравого смысла.

Арто[65], несомненно, был последним, кто пытался спасти театр, вырвав его из ведущего в тупик варианта развития реального, предупредить конец репрезентации, силой жестокости инъецируя в нее нечто даже, предшествующее иллюзии и симулякру, варварски оперируя знаком над реальностью или же не различая их, что еще свойственно для ирреалистичных театров (Пекинская опера, балийский театр и самопожертвование как сцена смертельной иллюзии).

Сегодня эта критическая энергия сцены, не говоря уже о силе иллюзии, находится в стадии уничтожения. Вся театральная энергия расходуется на отрицание сценической иллюзии и антитеатр во всех его формах. Если в течение определенного периода театральная форма и форма реального диалектически обыгрывались между собой, то сегодня чистая и пустая театральная форма обыгрывает чистую и пустую форму реального. Изгнав иллюзию, отменив разделение на сцену и зрительный зал, театр опускается до улицы и повседневности, пытается охватить всю реальность, раствориться в ней и вме-

сте с тем преобразить ее. Парадокс в высшей степени. И поэтому расцветают все «взрывные» формы анимации, креативности и экспрессии, хэппенинга и отыгрывания [acting out] — театр принимает форму всеобщей терапевтической психодрамы. Это уже не знаменитый аристотелевский катарсис страстей, а процедура обеззараживания и реанимации. Иллюзия больше неактуальна: теперь истина взрывается в своем свободном выражении. Все мы актеры, и все мы зрители, сцены больше нет, она повсюду, нет правил, каждый разыгрывает свою собственную драму, импровизируя своими собственными фантазмами.

Обсценная форма антитеатра — повсюду.

А к тому же еще антипедагогика с антипсихиатрией, где знание и безумие теряются в психодраматическом сговоре, антипсихоанализ, где аналитик и анализант в конечном итоге меняются ролями, — повсеместное исчезновение сцены, повсюду полюса, порождающие напряжение или различение, поражены инертностью.

Или искусственное воскрешение, которое является одной из форм обсценности. Это свехзначимая перипетия: когда сцена труда, которая также под угрозой исчезновения, реактивируется в пустоте, если можно так выразиться, на немецких заводах-симулякрах, где для использования безработных и за отсутствием какого-любого «реального» производства сохраняется психосоциальный опыт трудового процесса. Изумительная галлюцинация модерного мира: безработным платят за то, чтобы они, так сказать, бесплатно снова привлекались к производству в сфере, которая теперь совершенно беспо-

лезна. Это и есть полный экстаз труда, а безработные переживают экстатическую форму труда. Нет ничего более обсценного и в то же время более печального, чем эта пародия на труд. Пролетарий становится проституткой в целлофановой обертке.

Эта чистая обсценность, эта эскалация транспарентности достигает своего пика в крахе политической сцены.

С XVIII века политическая сцена морализируется и становится серьезной. Она становится местом одного фундаментального означаемого: народа, народной воли, социальных противоречий и т.д. — и призвана соответствовать идеалу положительной репрезентации.

Если предыдущая политическая жизнь, например королевского двора, представлялась театральным образом, на основе игры и интриги, то отныне она существует как публичное пространство и система репрезентации (разрыв происходит одновременно с разделением на сцену и зрительный зал в театре). Это — конец эстетики, начало этики в политике, которая отныне, в таком фигуративном пространстве, определяется не сценической иллюзией, а исторической объективностью.

Эта этическая кристаллизация политической сцены порождает длительный процесс вытеснения (так же как лингвистическое структурирование порождает вытеснение знака). Обсценное зарождается вне сцены, за кулисами, в сумерках системы репрезентации. Именно потому, что оно выступает из сумерек, это то, что затрудняет транспарентность сцены, как бессознательное и вытесненное затрудняет транспарентность сознания. Оно незримо и не-

репрезентабельно, поэтому обладает энергией разрыва, трансгрессии, скрытого насилия. Такова традиционная обсценность, обсценность вытесненного сексуального или социального, того, что и не репрезентировано, и не может быть репрезентабельным.

В нашем случае дело обстоит иначе: обсценность сегодня, напротив, является *обсценностью сверхрепрезентации*. Наша радикальная обсценность более не обсценность скрытого или вытесненного — это транспарентность самого социального, транспарентность социального (и секса) как смысла, как референции, как очевидности. Произошел полный переворот. И если обсценность прежде играла второстепенную роль вытесненного — это был ад репрезентации, как говорят об аде Национальной библиотеки, — если у нее еще был шарм запрета, шарм ее фантазмов и перверсий, то сегодня она вырывается на главную роль — она взрывает сцену видимого в каком-то экстазе репрезентации. Вначале была тайна, и это было правило игры кажимостей. Затем было вытесненное, и это было правило игры в глубину. Наконец, настало обсценное, и это правило игры мира без кажимостей и без глубины — мира транспарентности. Чистая обсценность.

Все лежит на поверхности, и у этого поверхностного всего уже нет тайны. Все, что хранилось в тайне, или даже то, чего и не существовало, оказалось насильно выдворено в реальное, репрезентировалось безо всякой потребности и без всякого правдоподобия. Принуждение репрезентации. Вот что такое порно: оргазм в цвете и крупным планом, ни потребности, ни правдоподобия, — оно просто беспощадно правдиво, даже если не является правдой

вообще. Оно просто до омерзения зримо, даже если не является репрезентацией вообще.

Чтобы нечто имело смысл, нужна сцена, а чтобы была сцена, нужна иллюзия, минимум иллюзии, сила воображаемого, вызов реальному, то, что вас захватывает, соблазняет, возмущает. Без этого чисто эстетического, мифического, игрового измерения нет даже политической сцены, где нечто могло бы стать событием. И эта минимальная иллюзия исчезла для нас: никакой потребности, никакого правдоподобия нет для нас в событиях, происходящих в Республике Биафра, в Чили, в Польше, в терроризме и инфляции или в ядерной войне. У нас есть лишь суперрепрезентация посредством СМИ, но нет никакого реального представления [imagination]. Все это для нас просто обсценно, потому что благодаря медиа все становится зримым, но не созерцаемым, галлюцинацией между строк, все поглощается так, как вуайерист поглощает секс: на расстоянии. Ни зрители, ни актеры, мы — вуайеристы без иллюзии.

Мы нечувствительны, потому что больше нет эстетики (в строгом смысле) политической сцены, нет ставки, нет правил игры. Ведь информация и медиа являются не сценой, перспективным пространством, где нечто разыгрывается, а экраном без глубины, перфокартой сообщений и сигналов, считывание которой совпадает с самой же перфорацией получателя.

Ничто не может компенсировать эту потерю всякой сцены и всякой иллюзии в автоматической симуляции социального, в автоматической симуляции политического. И особенно в речах политиков: все они вынуждены симулировать в патетической же-

стикуляции, — порнографы безразличия, чья официальная обсценность лишь дублирует и подчеркивает обсценность мира без иллюзий. Впрочем, всем на это наплевать. Мы находимся в экстазе политики и истории — полностью информированные, но беспомощные, полностью солидарные, но парализованные, полностью застывшие в мировой стереофонии, трансполитизированные заживо.

Сегодня уже нет трансцендентности, лишь имманентная поверхностность выполнения операций, гладкая операциональная поверхность коммуникации. Фаустовскую, Прометееву эру производства и потребления сменила Протеева[66] эра сетей, нарциссическая и протеиформная эра подключения, контакта, смежности, обратной связи, всеобщего взаимодействия [interface]. По образу телевидения, весь окружающий мир, и наше собственное тело, становится экраном управления.

Окончательная мутация объектов и современной окружающей среды определяется тенденцией к формальному, операциональному абстрагированию элементов и функций, их гомогенизацией в едином виртуальном процессе, к замещению движений и действий тел электрическим или электронным управлением, к миниатюризации во времени и пространстве процессов, настоящей сценой (но это уже больше не сцена) которых является микропамять и микропроцессоры.

Пришло время миниатюризации времени, тела, наслаждения. Больше нет идеального принципа этих вещей в человеческом масштабе. Остался только ядерный эффект. Эта замена человеческого масштаба ядерным масштабом чувствуется повсю-

ду: тело, наше тело представляется, по сути, излишним, ненужным с его пространством, многообразием и сложностью своих органов, тканей и функций, поскольку все сегодня сосредоточилось в мозге и генетической формуле, которая в сжатом виде представляет собой единственную операциональную дефиницию бытия. Сельская местность, географически огромная сельская местность представляется пустынной, ее пространство, как и тела, излишне (его в случае необходимости даже пересекать скучно), поскольку все события кристаллизируются в городах, которые сами находятся в процессе сокращения до нескольких миниатюризированных ключевых центров. И время: что уж говорить о том бесконечном свободном времени, которое нам предоставлено, переизбытке времени, которое окружает нас, словно дикая пустошь, измерении, отныне бесполезном в своем развертывании, поскольку моментальность коммуникации миниатюризировала наши обмены в последовательность мгновений?

Мы переживаем уже не драму отчуждения, а экстаз коммуникации.

Способствовал отчуждению, несомненно, частный [внутренний] мир, поскольку отделял нас от других, но он также получал символическую прибыль отчуждения, ведь инаковость может представляться и благом, и злом. Так общество потребления существовало под знаком отчуждения, как общество спектакля, но спектакль еще оставался именно спектаклем, он не был обсценным; обсценность начинается тогда, когда сцены больше нет, когда все становится невыносимо транспарентным.

Еще Маркс разоблачил обсценность товара, связанную с презренным принципом его свободного обращения. Обсценность товара следует из того, что он абстрактен, формален и легковесен, в отличие от весомости и плотности объекта. Товар читабелен: в отличие от объекта, который никогда не предает полностью своей тайны, товар всегда манифестирует свою явную сущность, свою зримость, которая является его ценой. Это формальное место транскрипции всех возможных объектов: через него все объекты коммуницируют — это самый первый грандиозный медиум коммуникации модерного мира. Но месседж, который он посылает, предельно упрощен и всегда одинаков: меновая стоимость. Поэтому, в сущности, месседжа уже нет, это медиум, который навязывает себя в своей чистой циркуляции.

Следует лишь расширить этот Марксов анализ обсценности товара, чтобы декодировать мир коммуникации.

Не только сексуальное становится обсценным в порнографии, сегодня существует целая порнография информации и коммуникации, схем и сетей, порнография функций и предметов в их считывании, их подвижности, их доступности, их регуляции, их поливалентности, в их принудительной сигнификации, в их свободном выражении... Это обсценность всего того, что полностью растворимо в коммуникации.

Грязную обсценность прежних времен сменяет чистая — горячую обсценность сменяет холодная. Обе предполагают форму промискуитета: первая — это скопление внутренностей в теле, вещей, сваленных в кучу в частном [внутреннем] мире, того, что

кишит в безмолвии вытеснения, — органический, нутряной, плотский промискуитет; вторая — это промискуитет поверхностного насыщения, непрерывного побуждения, уничтожения интерстициальных промежутков.

Вы поднимаете трубку или надеваете наушники, и готово: вся сеть из последних сил старается привлечь ваше внимание, домогается вас с невыносимой искренностью всего того, что стремиться коммуницировать с вами. Свободные [частные] радиостанции: они говорят, поют, они выражают себя, это все замечательно, просто сказочный контент! В понятиях, едва различимых для всякого медиума, это ведет к следующему: эфир, этот FM-диапазон оказывается перенасыщенным, станции перекрываются и перемешиваются настолько, что уже не коммуницируют вообще. То, что было свободным, уже не является таковым вовсе — вы уже не знаете, что вам хочется слушать, настолько насыщен эфир, настолько силен натиск всего того, что хочет быть услышанным.

И вас охватывает негативный экстаз от радио. Определенно, здесь имеет место чистое состояние фасцинации, связанное с этим бредом коммуникации, а следовательно, и своеобразное удовольствие. Если следовать Роже Кайуа с его классификацией игр — экспрессивные (мимикрия), состязательные (агон), азартные (алеа) и головокружительные (илинкос), — то вся тенденция развития нашей современной культуры ведет нас к постепенной потере экспрессивных и соревновательных форм в пользу форм алеаторных и головокружительных, где уже нет сцены, зеркала, вызова,

дуэли, — это скорее игры экстатические, одиночные и нарциссические, удовольствие от которых уже не сценическое и эстетическое, это уже не удовольствие от экзотерического смысла, а психотропное удовольствие от чистой фасцинации и алеаторности. Это не обязательно отрицательное суждение. Определенно, здесь имеет место оригинальная мутация форм восприятия и удовольствия. Мы все еще плохо представляем последствия. Пытаясь применить наши прежние критерии и навыки восприятия, мы, без сомнения, не в состоянии понять, что может произойти в этой новой сенсорной сфере.

Одно можно сказать наверняка: сцена страстно увлекает нас, обсценное завораживает. Где фасцинация и экстаз, там исчезает страсть. Вложение сил, желание, страсть, соблазн, или, согласно Кайуа, экспрессия и соревнование, — это горячая вселенная. Экстаз, обсценность, фасцинация, коммуникация, или, согласно Кайуа, алеаторность и головокружение, это холодная, cool-вселенная (головокружение холодное, даже головокружение от наркотиков).

Во всяком случае, мы должны будем испытать на себе эту принудительную экстраверсию всего внутреннего [intériorité] и этого принудительного вторжения всего внешнего [extériorité], что, собственно, и означает категорический императив коммуникации. Стоит ли прибегать к патологическим метафорам? Если истерия была патологией экспрессии, обостренной мизансценой субъекта, театральной и оперной конверсии тела, если паранойя была патологией организации, ригидной и ревнительной

структуризацией мира, то коммуникация, информация, имманентный промискуитет всех сетей и постоянная связь будут являться для нас скорее новой формой шизофрении.

Уже не истерия, уже не проективная паранойя, строго говоря, но то чистое состояние, которое порождает ужас шизофрении: чрезмерная близость всего на свете, отвратительный промискуитет всех вещей, которые контактируют, вводятся, проникают безо всякого сопротивления: никакая защитная аура, даже само тело, больше не окружают его. Шизофреник лишен всякой сцены, вопреки своей воле и благодаря невероятной путанице он открыт всему. Он сам по себе обсценен, обсценная жертва обсценного мира. В большей степени, чем полный разрыв и отдаленность от реального на целые световые года, его характеризуют абсолютная близость, тотальная мгновенность всего, без прикрытия, без дистанции, конец внутреннего и интимного, переэкспозиция и транспарентность всего мира, которая пронизывает шизофреника и которой он не может препятствовать. И это потому, что он уже неспособен определить пределы своего собственного существа и уже неспособен рефлексировать, быть зеркалом, он лишь поглощающий экран, переключающийся центр для всех сетей влияния.

Потенциально мы все такие.

Если бы это было так, если бы это было возможно, то этот обсценный и повсеместный экстаз всех функций был бы все-таки состоянием желаемой транспарентности, состоянием примирения субъекта и мира, по сути, для нас это был бы Страшный суд, и он уже состоялся бы.

Отсюда вытекают две вероятности, одинаково возможные: ничего еще не произошло, наша беда в том, что на самом деле ничего еще не началось (либерализация, революция, прогресс...), — утопия финализма. Другая вероятность — все уже произошло. Мы уже по ту сторону конца. Все, что было метафорой, уже материализовалось, обрушилось в реальность. Это конец конца — такова наша судьба. Мы находимся в трансфинитном мире.

ИРОНИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ

Мы преступили все, включая пределы сцены и истинности.

Мы действительно находимся по ту сторону. Воображение подвластно, познание и понимание подвластны, мы переживаем или в скором времени будем переживать завершенность социального, все здесь, небо сошло на землю, небо утопии, и то, что маячило как радужная перспектива, отныне переживается как катастрофа в замедленном режиме. Мы чувствуем фатальный привкус материального рая, и транспарентность, которая была идеальным лозунгом эпохи отчуждения, осуществляется сегодня в качестве гомогенной и террористической среды — гиперинформации и гипервидимости.

Нет более черной магии запрета, отчуждения и трансгрессии, есть белая магия экстаза, фасцинации и транспарентности. Это конец патетики закона. Никакого Страшного суда не будет. Мы перешли по ту сторону, сами того не заметив.

Что ж. Мы находимся в раю. Иллюзия больше невозможна. Она, которая всегда сдерживала реальное, сдала позиции, и мы наблюдаем обрушение реального в мир без иллюзий. Развеялась даже историческая иллюзия, которая сохраняла надежду на сближение до бесконечности реального и рационального, тем самым развеялась и метафизическая

напряженность: реальное стало рациональным — это взаимопроникновение состоялась под знаком гиперреального, экстатической формы реального. Всякая метафизическая напряженность рассеялась, уступив место атмосфере патафизики, то есть тавтологической и гротескной завершенности хода развития истинности. Папаша Убю: набитое брюхо и зияние пустоты. Убю — состояние переполненности и ожирения, гротескной имманентности, неопровержимой достоверности, гениальная фигура пресыщения, того, что вобрало в себя все, все преступило и зияет в пустоте как мнимое разрешение.

Значит ли это, что Бог пал до такой недостойной его стратегии — примирить человека с его собственным образом в ходе Страшного суда, что бесконечно приблизило бы его к идеальному концу? К счастью, это не так: стратегия Бога в том, что он, возводя Зло в степень принципа, удерживает человека в состоянии саспенса, враждебности к своему образу, и в исключительной восприимчивости ко всякому соблазну, который отвращает его от его конца.

Нет больше ни принципа реальности, ни принципа удовольствия. Есть лишь конечный принцип примирения и бесконечный принцип Зла и Соблазна.

По ту сторону экстаза социального, экстаза секса, тела, информации нас подстерегает принцип Зла, злой дух[67] социального, злой дух объекта, ирония страсти.

По ту сторону конечного принципа субъекта возникает фатальная обратимость объекта, чистый объект, чистое событие (фатальное), объект-масса (молчание), объект-фетиш, объект-феминность (соблазн). После многих веков торжествующей субъек-

тивности сегодня нас повсеместно подстерегает ирония объекта, объективная ирония читается в самой квинтэссенции информации и знания, в самой квинтэссенции системы и ее законов, в квинтэссенции желания и всей психологии.

Злой дух социального

Не мораль и позитивная система общественных ценностей заставляют прогрессировать общество, а его имморальность и порочность.

Вовсе не Добро и Благо, которые были либо платоническим идеалом морали, либо прагматичным и объективным идеалом науки и техники, руководят общественными изменениями или общественной энергией — движущий импульс проистекает из безудержности [débauche], либо образов и идей, либо знаков.

Рациональная система морали, ценности, знания, разума руководит лишь линейной эволюцией обществ, их зримой историей. Но глубинная энергия, которая дает импульс этим явлениям, проистекает из другого источника. Из престижа, вызова, всех соблазнительных или антагонистических побуждений, в том числе и самоубийственных, которые не имеют ничего общего с общественной моралью или моралью истории и прогресса.

Соперничество всесильнее, чем всякая мораль, и соперничество имморально. Мода всесильнее, чем всякая эстетика, и мода имморальна. Слава, как сказали бы наши предки, всесильнее, чем заслуга, и слава имморальна. Безудержность знаков во всех сферах всесильнее, чем реальность, и эта

безудержность имморальна. Игра, правила которой стары как мир, всесильнее, чем работа, и игра имморальна. Соблазн, во всех своих проявлениях, всесильнее, чем любовь или интерес, и соблазн имморален.

В этом взгляде не больше философского цинизма, чем у Мандевиля[68], это объективный взгляд на общество и, возможно, на все системы. Сама сила мысли цинична и имморальна: всякий мыслитель, который полагается лишь на логику своих концептов, никогда не видит дальше своего собственного носа (или быть циничным, или погибнуть). Нужно быть циничным под страхом смерти, и это, так сказать, не имморальный цинизм, это — цинизм, проистекающий из тайного порядка вещей.

Дело не в том, что отдельные лица или целые группы подчинялись какому-то тайному инстинкту, а в том, что власть, которая хотела искоренить эту непокорность, эту безудержность, этого злого гения, низводя все к «иррациональным» побуждениям в человеческом подсознании, всегда обрекала их на более или менее медленную смерть. Энергия порока незаменима именно потому, что это энергия разрыва и разлада, которую весьма наивно пытались заменить механической *энергией производства*.

Как функционируют наши общества, якобы рациональные и запрограммированные? Что побуждает, что движет народами [populations]? Научный прогресс, «объективная» информация, рост коллективного благосостояния, понимание фактов и причин, реальное наказание виновного или качество жизни? Отнюдь, все это никого не интересует, разве что при ответах на опросы общественного мнения.

То, что завораживает всех, так это безудержность знаков, то, что реальность, повсеместно и постоянно, совращается знаками. Вот это действительно интересная игра — и это то, что происходит в медиа, моде, рекламе, а еще шире и в политическом спектакле, в спектакле технологии, науки, в спектакле чего угодно, потому что извращение реальности, невероятное искажение фактов и репрезентаций, торжество симуляции завораживают так же, как катастрофа, — это головокружительное искажение всех эффектов смысла и в самом деле катастрофа. За этот эффект симуляции или же, если хотите, соблазна мы готовы заплатить любую цену, намного большую, чем за «реальное» качество нашей жизни.

В этом и заключается секрет рекламы, моды, игры, всех совращающих систем, которые ослабляют моральную энергию и высвобождают энергию имморальную, ту, что беспечно насыщается только лишь знаком вещей, бросая вызов их истине, — в этом она сближается с магическими и архаичными энергиями, которые всегда делали ставку на всемогущество мысли *против* всевластия реального мира, — имморальную энергию, которая сокрушает смысл, пронизывает факты, репрезентации, общепринятые ценности и электризует общества, запертые в их платоническом образе.

Прекрасным примером этой «дьявольской» силы изменения, этой имморальной энергии трансформации вопреки всем системам ценностей, являются Соединенные Штаты. Несмотря на их моральность, их пуританство, их одержимость добродетелью, их прагматичный идеализм, все здесь неуклонно меняется благодаря импульсу, который вовсе не являет-

ся импульсом прогресса, линейным по определению, — нет, истинным двигателем является отвратительность [abjection] свободной циркуляции. Асоциальная и до сих пор дикая, невосприимчивая к любому когерентному социальному проекту: здесь все тестируется, все приносит доход, из всего извлекается польза, все терпит крах. На западе — музыка, терапии, сексуальные «извращения», на востоке — небоскребы, лидеры, гаджеты, художественные течения — все это беспрерывно следует одно за другим и заменяет одно на другое. И наше культурное подсознание, которое коренным образом питается культурой и смыслом, может быть глубоко раздражено этим спектаклем, но тем не менее как раз в этой имморальной скученности всех форм, всех рас, в безудержном *спектакле* перемен и заключается успех общества и признак его жизнеспособности.

Паблисити, отвратительная абстрактная циркуляция евродолларов, биржевых котировок, имморальность циклов моды, бесполезные технологии и дутый престиж, предвыборная показуха, эскалация вооружений — все это является не только историческим признаком засилья капитала, но и решающим доказательством еще более важного факта, чем сам капитал, —доказательством того, что никакого *социального* проекта, достойного этого названия, на самом деле никогда не существовало, что ни одна группа в принципе никогда на самом деле не представляла собой социальную группу, то есть группу, связанную своими собственными ценностями и последовательную в своем коллективном проекте — одним словом, что никогда не было даже те-

ни или зародыша сознательного коллективного субъекта и самой возможности цели такого порядка.

Общественная мораль, коллективная ответственность, прогресс, рационализация социальных отношений — чушь! Какая группа когда-либо мечтала об этом? Мечтали социологи и идеологи, да еще политики, которые как раз потеряли чувство политического, этого коварства и этого *fallacy* [ложная аргументация][69] политического, но это уже не fallacy из *«Государя»* Макиавелли, а если следовать за Мандевилем в бездну социального, это макиавеллизм всякого общества в его *реальном функционировании*.

Энергия социального как такового, энергия общественного соглашения и его идеализации в социализме — это бедная энергия[70], это умеренная энергия, медленная и искусственная. И, как видим, народы ей не подчиняются, это лишь их история. Даже революция, которую можно считать кульминацией этой «сознательной» энергии, не раскрывает скрытый смысл истории. Как сказал Ривароль[71]: «Народ на самом деле и не хотел революции, он желал лишь ее зрелища». Есть ли что-то более коварное, чем это? Более имморальное (особенно когда речь идет о революции! — но не волнуйтесь: когда народ, как кажется, хочет порядка, то не желает ли он также лишь его зрелища?)

Если наша перверсивность заключается в том, что мы никогда не желаем реального события, а лишь его зрелища, желаем не реальную вещь, а лишь ее знак и скрытую насмешку ее знака, то это значит, что мы не столько хотим изменения положения вещей, нам нужно чтобы это изменение нас еще и соблазняло. Чтобы произошла революция,

она должна нас соблазнить, и сделать она это может лишь с помощью знаков — в этом плане она как самый последний из политиков, который на все горазд во время выборов. И мы готовы заплатить самую высокую цену за то, чтобы соблазниться, ведь революция может быть всего лишь исторически детерминированной, но только ее зрелище величественно. И что мы выбираем? Почему люди и народы, столь дорого заплатившие за свою революцию, к отчаянию своих сторонников, зачастую впадали в безразличие и, ничуть не проникаясь самим «событием», жертвовали собой ради *зрелища* революции?

Все дело в том, что это влечение к насмешке избавляет нас от ужаса.

Другой пример имморального общества, живущего глубокой имморальностью, — Италия. Почему там нет депрессии [morose] (в отличие от Франции, даже социалистической)?

Вероятно, потому что это единственное общество, которое коллективно пересекло виртуальную линию симуляции — коллективная виртуозность жить одновременно в смехотворном и изощренном порядке симуляции. Они перестали безнадежно защищать себя от потери сущности, ценности и смысла, которая является несчастьем для других и причиной их депрессии, а потому и жизнь в Италии, в конечном счете, счастливее. Остальные живут в состоянии досадной симуляции, Италия же, условно говоря, живет в состоянии радостной симуляции. Здесь закон уже уступил — и, возможно, уступал всегда — свое место игре и правилам игры. Все итальянцы, от Красных бригад до спецслужб, от матерей больших семейств до семей мафии, от *terremotati*

[пострадавших от землетрясения] до ячейки масонской ложи П2[72] (вот это диво: государство, ставшее тайным обществом!), отныне в той или иной степени причастны к ироническому сговору по поддержанию театрализованности, симуляции власти, закона, существующего порядка или беспорядка — *к тайному пакту о стратегии кажимостей, которая доминирует надо всем.* Пакт об эффекте trompe-l'œil [обманка] политического и социального, на котором играют и тут же срывают игру, и об удовольствии от самих эффектов (довольно близко к ренессансной модели). Истинный актуальный социальный обмен — *это коллективный обмен соблазном.*

Какая связка более фантастична, чем эта?

Что еще коллективного или индивидуального можно обнаружить по ту сторону расщепления референциальной вселенной, кроме фикции, иронической стратегии кажимостей? Это не опровергает и посмертный французский социализм, ведь и он всего лишь разыгрывает *прискорбную* кажимость социального, которое олицетворяет собой мрачная статуя Командора[73] Миттерана и моральная бюрократия его подкомандоров.

Разве это тайное неповиновение группы своим собственным принципам, эта полная имморальность и двуличие не являются отражением универсального распорядка? Нужно пробудить принцип Зла, живший в манихействе и во всех великих мифологиях, чтобы в противовес принципу Добра утвердить вовсе не верховенство Зла, а фундаментальную двойственность, которая допускает, что всякий порядок существует лишь для того, чтобы его нарушать, критиковать, преступать и упразднять.

Первобытные народы иначе и не мыслили; как известно, у них был иной взгляд на богов, чем у нас: они выдумывали их лишь для того, чтобы предавать их смерти, и в этом периодическом жертвоприношении черпали свою энергию. У ацтеков боги сами жертвуют собой один за другим, чтобы породить солнце, луну, людей. Для того чтобы что-то ожило, нужно, чтобы умер бог, который это в себе воплощает.

Принципиальное правило таково: чтобы группа или отдельный человек продолжали существовать, они никогда не должны стремиться лишь к своему собственному благу, собственной выгоде, собственному идеалу. Они всегда должны стремиться за пределы, в обход, по ту сторону или по касательной, как боец в японском боевом искусстве. В желании примирить эти два принципа нет никакого смысла. Двойственность здесь стратегическая, она фатальна.

Как раз это и усматривал Батай в концепте траты и проклятой доли. Именно лишнее, чрезмерное — то, что имеет важное значение. Именно там, где концентрируются все ставки, возникает энергия общества.

В таком случае, социальное вовсе не является договорной организацией, управляющей интересами группы (которая к тому же одновременно управляет и недостатком, в том числе и прежде всего, недостатком самого социального — принцип экономии исходит из того, что всего никогда не бывает достаточно для всех, принцип Батая исходит из того, что всего для всех всегда слишком много и что избыток — это наша судьба), а авантюрной, возможно абсурдной организацией, проектом энергии расточения, а не накопления, антиэкономией, одарением, вызовом сохраняющей [conservatrice] природе. Со-

циальное — это роскошь. Наше же социальное свидетельствует лишь о нищете наших обществ.

Другим обнадеживающим признаком является необычайная коллективная фасцинация, страстное желание народа принести в жертву своего лидера или увидеть, как его приносят в жертву, если представится такая возможность.

Не следует недооценивать эту чисто политическую страсть народов привести к власти человека или клан [caste] лишь затем, чтобы позднее наблюдать их падение или даже самим низвергнуть их. Это лишь политическая версия закона обратимости и форма понимания политического, по крайней мере, равная или даже превосходящая версию общественного договора и делегирования полномочий, которую превозносят для того только, чтобы опровергнуть.

Люди конечно же избирают лидеров и подчиняются им, конечно же наделяют своих представителей властью и легитимностью. Но разве нельзя предположить, что в основе этого всегда лежит логичное стремление отомстить? Власть, какой бы она ни была, и от кого бы она ни исходила, является символическим убийством и должна быть искуплена убийством же. Можно быть уверенным, что всякое общество знает об этом в тот самый момент, когда приводит лидера к власти, и что лидер, если он достаточно умен, также прекрасно осознает это.

Это отвечает правилу игры, которое состоит в том, что группа или отдельный человек никогда не должны стремиться к собственному самосохранению. Также и власть, если она действительно хочет исполнять свои функции, никогда не должна

стремиться к своей собственной непрерывности [continuité], она должна стремиться, в определенном смысле, к своей собственной смерти. В противном случае она впадает в иллюзию власти, в нелепость вечного порождения и бесконечной уступки власти. Если она не понимает этого, она будет сметена. Если же этого не понимает группа, то она исчезнет. Институт власти отражается в эквивалентной необходимости своей смерти.

Даже современные лидеры, хоть и одержимы своим постоянством во власти и вовсе не склонны к ритуальному жертвоприношению, инстинктивно угадывают это правило и, не смущаясь, прибегают к инсценировке своей смерти благодаря более или менее хорошо срежиссированным покушениям. Впрочем, некоторым не всегда удается избежать покушения, но это не важно, ведь в этом случае просто смерть ничего не дает, нужно уметь исчезать [disparaître]. Характерная черта наших современных бюрократических или же управленческих систем заключается в том, что они не умеют ни самоустраняться [disparaître], ни самозаменяться. Нынешние руководители верят в свою силу, потому что они верят в то, что их назначают народы. Но у них нет власти, потому что это — банальная стратегия. Однако иные политики понимают, что власть — это не право в одностороннем порядке распоряжаться волей других, но всегда изощренное и неоднозначное упражнение в своем собственном исчезновении. Они понимают, что власть, так же как истина, это мертвая точка, которую нужно уметь никогда не занимать, более того, нужно делать так, чтобы в нее попадали другие. Власть, которая занимает эту точку, власть,

которая воплощает власть, обсценная и подлая, и рано или поздно она проливает кровь или становится посмешищем.

Кстати, именно в этом и заключается вся стратегия интеллектуальной субверсии: не атаковать власть в лоб и противостоять ей, а подталкивать ее к тому, чтобы она заняла эту обсценную позицию истины, эту обсценную позицию абсолютной очевидности. Потому что как раз здесь, где она воображает себя реальной, она впадает в воображаемое — как раз здесь ее больше не существует, потому что она нарушает свою собственную тайну.

Такова была несогласованная тактика мая 1968 года[74]: заставить власть, чтобы она совпала с несимулированным исполнением своих функций — в частности, с помощью разнообразных обманок, — чтобы она предстала как репрессивная власть. Казалось бы, наивная и напрасная цель.

Зачем приносить себя в жертву, чтобы стать доказательством этой репрессивности? Но ловушка заключалась в следующем: заставить власть быть более репрессивной, чем она была на самом деле, — следовательно, протестующие использовали поистине мощь симуляции, заставляя власть усилить репрессивность обсценностью репрессий[75]. И это то, что убивает: симуляция всегда является самым эффективным оружием. Достаточно уничтожить себя [исчезнуть] перед тем, что выступает против вас, чтобы оно само обернулось против себя со всей своей силой инерции.

Следовательно, май 1968 года был не наступательным действием (власть здесь заведомо выигрывала), а оборонительной симуляцией с целью

украсть у власти ее собственную тайну (а точнее, то, что ее нет) и таким образом оставить беззащитной перед своей собственной невероятностью (ненормальностью?) [énormité].

Следует помнить, что власть вращается вокруг тайного уродства, и что вознестись к власти означает погрузиться в трудное ее исполнение, всегда на грани нелепости, в преимущество без взаимности. Выпутаться из этого можно лишь благодаря двусмысленности и двуличности. И вы обречены, как только устраняете всякую неопределенность из этого исполнения власти.

Принцип самого Зла заключается в объективной иронии и в стратегиях, которые из нее вытекают.

Все эпохи, все философии и метафизики (манихейские, еретические, катарские, колдовские, а также Нерваля, Жарри, Лотреамона[76]) в определенный момент выдвигали гипотезы о нелепости, принципиальной ирреальности мира, то есть, по сути, о принципе Зла, за что их всегда покрывали позором или сжигали, ведь это абсолютный грех. Об ирреальности мира и, как следствие, всемогуществе мысли задумывались, строго говоря, лишь в обществах без реального (скорее реального, чем без истории или письменности). Все мифологии, все зарождающиеся религии переживали бурное отрицание реального, яростно бросали вызов существованию. А все, что отрицает реальное и бросает ему вызов, несомненно, ближе к миру всемогущества мысли.

Из иронии сделали нечто мефистофелевское, но она есть лишь то, что фильтрует все вещи и предохраняет их от смешения. Она фильтрует слова, тела и души, фильтрует понятия и удовольствия и предо-

храняет их от скученности и любовной коагуляции. Она проявляет одну форму через другую в анаморфозе, она проявляет один вид через другой в метаморфозе — так же и совокупление богов с людьми в греческой мифологии — это ирония. Различие между богами и людьми, между людьми и животными — это фильтр[77] соблазна. Когда подобное сопрягается с подобным, все становится обсценным. Необходимость иронии, как и необходимость удовольствия, является частью необходимости Зла.

Злой дух объекта

В начале XX века наука признает, что любое устройство для наблюдения на микроскопическом уровне вызывает искажение объекта, достаточное чтобы поставить под угрозу знание [о нем]. Это уже самая настоящая революция, потому что это признание кладет конец конвенциональной гипотезе об объективной реальности и объективном познании, однако сам принцип исследования остается неприкосновенным. То, что здесь ставится на кон, так это лишь определенность, и тут же устанавливается новая конвенция — о неопределенности. Результаты становятся относительными при функционировании самой науки как медиума, но эта релятивизация свидетельствует лишь, так сказать, о непомерной гордыне. «Моя уверенность заканчивается на считывании показаний приборов», — говорит микрофизик. Или: «Если на пластине отражается частица света, то не является ли на самом деле „причиной“ этого сама пластина?» Можно ли действительно говорить о фотоне до (или после) того, как он был за-

фиксирован на экране или фотопластине? В гуманитарных науках аналогом является прогноз и зондаж — но никогда не анализируемый в своих крайних последствиях, — предположение и индуцирование любого возможного ответа самим вопросом, а следовательно, тщетность анализа и интерпретации (ну здесь еще не все потеряно).

Впрочем, это всего лишь ограниченная революция, поскольку никогда не выдвигались другие гипотезы, кроме гипотезы об искажении объекта, который испытывает насилие со стороны устройства наблюдения и не в состоянии ответить на него (если только не забывать о неразрешимой задаче, как это было у Орфея с Эвридикой, — невозможность обнаружить свой объект без того, чтобы он не исчез), или еще хуже: объект обречен на тотальную симуляцию, то есть он проецируется в алеаторной форме моделей.

Кроме гипотезы об искажении, никогда не выдвигалась гипотеза об активном ответном действии [rétorsion] со стороны объекта на все эти выспрашивания, домогательства, насилие.

Но может быть, недовольный этим отчуждением посредством наблюдения, объект обманывает [trompe-t-il] нас? Может, он придумывает оригинальные ответы, а не только те, к которым его побуждают? Может, он вовсе не хочет, чтобы его анализировали и наблюдали, воспринимает это как вызов (а это так и есть) и отвечает другим вызовом? Эта победная хитрость анализируемого объекта очень хорошо ощущается в так называемых гуманитарных науках (хотя об этом и предпочитают забывать). Здесь уже можно констатировать точку невозврата,

когда не только любая позиция субъекта анализа характеризуется относительностью и неопределенностью, но и происходит полное изменение приоритета: сегодня повсюду торжествует анализируемый объект, *именно благодаря своей позиции объекта* как предмета [sujet] анализа. Он повсеместно ускользает от субъекта, ссылаясь на неопределимую позицию предмета. Благодаря своей многосложности [complexité], он не только выходит за рамки, но и аннулирует вопросы, которые другой может ему задать. Становясь обратимыми, даже материальные процессы ускользают от любых запросов (обратимость — абсолютное оружие против любой детерминации, которую стремятся навязать процессам [phénomènes], но она не сохраняет неопределенность [indétermination], потому что обратимость не принадлежит к алеаторному порядку, она является скорее чем-то вроде точно инвертированной и симультанной детерминации, перверсивной контрдетерминацией). Столкнувшись с уничтожающим их анализом, они становятся обратимыми, так же как преобразуются кажимости, столкнувшись с уничтожающим их смыслом. Предмет анализа повсеместно становится нестабильным, и на этом месть объекта только начинается. Он сам становится частью всеобщей обратимости.

Хуже того, быть может, однажды субъект обнаружит, что его *соблазняет* его же объект (что вполне естественно) и снова окажется во власти кажимостей — это лучшее, что может случиться и с ним, и с наукой.

Такого рода обратимость, превращение знания в загадочную дуэль субъекта и объекта, что до сих

пор прослеживалось лишь в сфере языка, предчувствуют и сами физики в области «точных наук» о материи.

Измерения, произведенные над частицей, не позволяют сказать о том, что произойдет с другой частицей, образующейся в тех же условиях... Весь экспериментальный аппарат при измерении, производимом над элементарной частицей, например фотоном, создает такие помехи, что другая частица, отделенная от первой бесконечным расстоянием, равным в наших масштабах нескольким световым годам, производит мгновенный отклик на это измерение.

«Измерение распространяет свои последствия на расстоянии со скоростью, которая превышает скорость света... Фотоны предупреждают друг друга, передают информацию обратно к источнику света, идут обходным путем[78], чтобы избежать помех со стороны устройства наблюдения. Фотоны коммуницируют: фантастика! И для этого, по-видимому, они используют мгновенное взаимодействие на расстоянии — за пределами скорости света. Энергия, прибывающая из будущего, в состоянии изменять существующее состояние системы...»

И как же противостоять сверхсветовой иронии этих фотонов с их спецслужбами сверхбыстрого реагирования, которые бросают вызов аналитическому аппарату?

Во всяком случае, гипотеза активного и неуправляемого ответа, *не*-инертности «предмета изучения [matière]», непримиримого антагонизма, а короче говоря, смертельной дуэли между любым субъектом, таким, каким он гипостазируется в анализе,

и любым объектом, которым субъект стремится овладеть в своих расчетах и манипуляциях, эта гипотеза завораживает. Если вдуматься, то она просто фантастически очевидна. Тогда как гипотеза («научная») о мертвой объективности[79] вселенной реально неправдоподобна. Если мы хотим быть материалистами, тогда следует предположить в предмете изучения [matière] вовсе не инертность и пассивность, но дух, даже злой дух, который способен сорвать все попытки его покорить.

До сих пор обратимость, по сути, остается в порядке метафизики («Если все в мире может объясняться причинностью, то это именно потому, что причина и следствие не могут рассматриваться как эквивалентные и взаимозаменяемые условия. Как не может снова разделиться на две различные жидкости смесь воды и чернил... так и все физические явления [phénomène] подчинены необратимости причинно-следственной связи»), но, возможно, она уже на пути к тому, чтобы потревожить порядок физики и поколебать основы.

Вместе с ней исчезает рациональный принцип, который препятствует следствию возвратиться к своей причине и аннулировать ее, препятствует тому, чтобы следствием *стало* аннулирование причины, а также тому, чтобы никогда не было причин, а был просто ряд следствий. Обратимость пресекает в зародыше любой детерминистский (или недетерминистский) принцип причинности. И когда я говорю «в зародыше [яйце]», то имею в виду яйцо и курицу — что было сначала? — замечательная апория о причинно-следственной связи: даже порядок причинности не может избежать пародийного

круговращения, что, в определенном смысле, является местью порядка обратимости.

Истории, где фигурирует обратимость, всегда весьма курьезны — например, о крысе и психологе: крыса хвастается, что она в конце концов полностью приучила психолога давать ей кусок хлеба всякий раз, когда он поднимает заслонку клетки. По примеру этой истории можно было бы предположить, что на уровне научного наблюдения все опыты были сфальсифицированы — не случайно искажены наблюдателем, а сфальсифицированы объектом ради забавы или ради мести (так же как и непонятные траектории частиц), и даже больше: что объект лишь делает вид, будто подчиняется законам физики, причем *только потому, что это доставляет такое удовольствие наблюдателю.*

Такова патафизика (наука о воображаемых решениях), которая ожидает всю физику в ее постыдном конце.

Идти навстречу желанию другого, будто в зеркале отражать его запросы или даже предвосхищать их — трудно даже представить, какой силы обман, искажение, провокация и диверсия, одним словом, тонкая месть кроется в этом моментальном соблазне. Как массы, так и предмет исследования [matière] исчезают за горизонтом реальности в таких симулятивных методах охвата как опросы или устройствах захвата как фотоэкраны для частиц. То же самое происходит и с самими событиями, которые исчезают из поля зрения за экранами медиа и телевидения. Ведь это верно, что, как и частицы, события теперь имеют возможность существовать лишь на экране отклонения [déflection], но не отражения, как

в зеркале. Зеркало было местом продуцирования воображаемого субъекта, экран же (под ним я подразумеваю также и сети, схемы, перфоленты, магнитные ленты, имитационные модели, и все устройства регистрации и отчета — словом, все записывающие поверхности) соответственно, является, по сути, местом его исчезновения. Известно, что телевизионный свет эндогенный, он струится изнутри и ничего не отражает — все происходит так, как будто сам экран является причиной и местом возникновения тех явлений, которые воспроизводятся на нем, — таково следствие усложнения современных устройств «объективного» захвата, что они уничтожили саму объективность происходящих в них процессов.

Другой, объект исчез с горизонта науки. Событие, смысл исчезает с горизонта медиа.

Но следует заметить, что *исчезновение также может быть и стратегией* — не вынужденным следствием работы информационного устройства, а собственной стратегией объекта, для которого экран отчета и контроля служит, в определенном смысле, экраном исчезновения. Этой *телевизионной* записывающей поверхности отдельный человек или массы отвечают *пародийным* поведением исчезновения. Кто они и что они творят за этим экраном? Они сами становятся непроницаемой и непостижимой поверхностью, что и является способом исчезновения. Они исчезают, они растворяются в поверхностном экране настолько, что их реальность, как и реальность частиц материи, может быть радикально поставлена под сомнение без того, чтобы это что-то изменило в вероятностном анализе их поведения. В «реальности», за этой «объективной» фор-

тификацией сетей и моделей, которые будто бы что-то улавливают, за суетой всей толпы исследователей, аналитиков, ученых, наблюдателей (а также медийщиков и политиков) прокатывается целая волна насмешек, реверсии и пародии, которая является активной эксплуатацией, *пародийным использованием объектом своего собственного способа исчезновения!*

Медиа служат причиной исчезновения события, объекта, референта. Но, быть может, они всего лишь служат средством передачи стратегии исчезновения — стратегии самого объекта?

Массы служат причиной исчезновения, растворения индивида. Но быть может, они являются для человека прекрасной возможностью исчезнуть?

Медиа остаются без ответа. Но, может быть, они являются всего лишь экраном, которым массы пользуются чтобы молчать?

А может быть, речь идет и о соблазне, но с точностью до наоборот: не об искажении массмедиа, а об искажении медиамассами в их стратегии исчезновения с горизонта медиа?

Так же как наблюдение за частицей в данных условиях не позволяет разрешить вопрос о поведении другой частицы в тех же условиях, так же и с массами, и с отдельными людьми дело обстоит так, словно они послушно подчиняются моделям анализа и опросам лишь для того, чтобы сделать их еще более неразрешимыми. Ведь опросы ничего не решают, в этом их шарм, так сказать, и они являются таковыми, потому что представляют собой экраны, за которыми объект исчез настолько, что уже решительно ничего нельзя сказать ни о причине его су-

ществования, ни о фактических результатах модели. Отсюда и происходит полностью оправданное недоверие к значимости опросов или же полная бесцеремонность по отношению к ним — своего рода спонтанный «вердикт симуляции». Это вердикт недоверия, неверия, который распространяется на все, что несут нам сегодня медийные и информационные каналы, даже научные. Мы фиксируем все это, но мы в это не верим, потому что *мы сами стали экранами*, — а кто может требовать от экрана, чтобы он верил в то, что фиксирует? На симуляцию мы отвечаем симуляцией, мы уже и сами стали симулятивными устройствами. Сегодня есть люди (и именно опросы свидетельствуют об этом!), которые не верят даже в космические полеты и корабли! Речь здесь идет больше не о философском сомнении относительно сущности и кажимости, а о *глубоком безразличии к принципу реальности под влиянием утраты всяких иллюзий.* Все прежние структуры знания, понятия, сцены, зеркала, стараются создать иллюзию, чтобы таким образом подчеркнуть достоверное отображение [projection] мира. Электронные поверхности лишены иллюзии, они несут лишь неразрешимость.

Именно это приводит к тому, что уже невозможно старое доброе критическое и ироническое суждение. Прежде, чтобы разоблачить риторику, можно было сказать: «Это же одна болтовня! [c'est de la littérature]» Чтобы разоблачить уловку можно было сказать: «Ну это же просто, как в театре!» Чтобы разоблачить мистификацию можно было сказать: «Ну это же все выдумка [c'est du cinéma]!» Но нечего разоблачать, сказав: «Это же просто телевидение!» Потому что нет

более референциальной вселенной, поскольку иллюзия мертва или поскольку она тотальна. Если настанет такой день, когда мы сможем сказать таким же образом: «Это же телевидение! Это же информация!», то это будет означать, что все изменилось.

Быть может, когда-то и станет массовой практика [expériences], изображенная в фильме *«Козерог один»*, где экспедиция на Марс, столь важная для престижа Соединенных Штатов, срывается в последний момент и ее во всех подробностях имитируют на телестудии где-то в пустыне, с симулированной, но безупречной ретрансляцией на все телеэкраны земного шара. Почему бы и нет? Симуляция — не преступление. Достоверность — это всего лишь особый [спец]эффект [effet spécial], и даже пространство, космическое пространство является для нас лишь плоским экраном симуляции, без третьего измерения. Пространственный эффект становится здесь спецэффектом[80].

Экран не репрезентирует ничего — ни телевизионный, ни социологический. Ошибочно будет думать, будто соцопросы могут что-либо отражать, так же как слово выражает вещь, образ — реальность или лицо выражает внутренний мир. На репрезентативность еще может претендовать разве что избирательная система, потому что она изображает релятивную диалектику тех, кто представляют, и тех, кого представляют. Относительно экрана нет ничего подобного. Модель, в противоположность концепту, принадлежит не к порядку репрезентации, а к порядку симуляции (виртуальной, алеаторной, разубеждающей, ирреферентной), поэтому абсолютно бессмысленно применять к ней логику системы ре-

презентации. Отсюда и происходят все недоразумения и бесконечные пустые споры о ее значимости и ее «правильном применении (как в рекламе: кто ввел социализм — Сегела[81] или Миттеран?). Абсурд и неразрешимость — смешивать две разнородные системы, параметры которых не могут быть транскрибированы из одной в другую. Иллогично проецировать операциональную, статистическую, информационную, симулятивную систему на систему традиционных ценностей — репрезентации, воли и общественного мнения (взглядов и убеждений). Этого недоразумения достаточно, чтобы кристаллизовать всю моральную философию информации.

Каким бы образом ни совершенствовались опросы, они никогда ничего не будут отражать, потому что их правила игры не являются правилами игры репрезентации. Их логика полностью согласована с логикой объективности, но по окончании этого процесса объекта уже не существует: следовательно, это уже объективность в чистом виде! Удивительная ирония! Это относится и ко всем медиа: в пространстве симуляции, то есть там, где нет ни истины, ни лжи, любая деонтология[82] становится исключительно лицемерной. О деонтологии опросов (или же медиа) говорить так же нелепо, как говорить о деонтологии моды — отсутствующей ввиду того, что ее движущей силой стала не постоянная игра на противопоставлении красивого и безобразного, а на неразличении этих двух полюсов и на недифференцированном вращении их в обобщенном эффекте соблазна.

Впрочем, если предположить, что можно было бы привести опросы к степени полной достоверности,

если предположить, что можно было бы предоставить информации определенный кредит истинности, то это было бы началом драмы. Ведь этот идеальный отпечаток, полученный с социального, был бы равносилен освобождению от его драматической случайности. Эта достоверность означала бы, что социальное побеждено техникой социального. А в этом как раз и заключается дьявольская цель всякой симуляции. Именно с этого и начинается мягкая технология истребления. Вот почему реальная проблема начинается с гипотезы о безотказной работе, ведь важными является не искажение истины внутри механизма, а искажение всего реального объективной надежностью этого механизма.

Как восхитительна [belle] была информация в эпоху истины! Как восхитительна была наука в эпоху реального! Как восхитительна была объективность в эпоху объекта! Как восхитительно было отчуждение в эпоху субъекта! И т.д.

Так что заблуждаются и те, кто уповает и восхваляет благотворное использование медиа, и те, кто возмущается манипулированием с их стороны, поскольку нет ничего общего между системой смысла и системой симуляции. Реклама и опросы абсолютно неспособны отчуждать волю или мнение кого бы то ни было, поскольку они не действуют в том пространстве-времени воли и репрезентации, где формируется суждение. По той же причине они неспособны прояснить волю или мнение кого бы то ни было, потому что они не относятся к той сцене общественного мнения, одновременно театральной и репрезентативной, которая представляет собой саму сцену политического. Так что

не надо беспокоиться: они не способны разрушать. Но не надо строить иллюзий: они так же не способны и прояснять.

Именно этот разрыв между двумя системами сегодня коллективно погружает нас в состояние оцепенения, неуверенности относительно нашей собственной воли, выбора, мнения. Мы никогда не узнаем, реально ли влияют реклама и опросы на чью-либо волю, но также мы никогда не узнаем и того, что было бы, если бы не существовало никакой рекламы или опросов. Экран, который создают медиа (информация) вокруг нас, — это экран полной неуверенности. Причем *абсолютно новой* неуверенности, ведь эта неуверенность происходит не из недостатка информации, а из самой информации, из ее избытка. В отличие от обычной неуверенности, которую всегда можно было разрешить, эта неуверенность неразрешима и, следовательно, никогда не будет устранена.

Такова наша судьба — объектов опросов, информирования, статистики: столкнувшись с предвосхищающей верификацией нашего поведения, поглощенные этой постоянной рефракцией, мы уже больше не сталкиваемся ни с собственной волей, ни с волей другого. Мы даже больше не отчуждены, ведь другого не существует — сцена другого, как и сцена социального и политического, уже исчезла. Каждый индивид включен в неразрывную когерентность статистических данных. Экстраверсия без апелляции, так же как и неуверенность.

Обсценность, присущая опросам, проистекает не из того, что они выдают тайну мнения, интимность желания или нарушают некое неотъемлемое право

на приватность (если бы тайна на самом деле существовала, то никто не смог бы ее выдать, даже ее обладатель) — она проистекает из статистического эксгибиционизма, из непрерывного вуайеризма группы по отношению к себе самой: в какой-то безумной ипохондрии ей все время надо знать, что она хочет, что она думает, видеть себя в цифрах на видеоэкране, расшифровывать кривые своих настроений, — в социальной одержимости самой собой она становится своим собственным пороком, своей собственной перверсией. Сверхинформированность приводит ее к ожирению самой собой.

Массы также погрязли в этом бесполезном переизбытке информации, которая будто бы проливает на них свет, а на самом деле лишь загромождает пространство и аннулируется в эквивалентности молчания. И никто не может ничего поделать с этим круговращением масс и информации.

Оба явления соответствуют друг другу: ни массы не имеют мнения, ни информация их не информирует, и то и другое чрезмерно перекармливает друг друга — скорость обращения информации увеличивает лишь вес масс, но вовсе не уровень их сознательности.

Все это было бы драматично, если бы была объективная истина, если бы была потребность в воздействии объективной истины на общественное мнение. Воздействие рекламы [publicité], опросов, медиа, информации (профанация [pollution] демократии, поллюция сознательности) — все это было бы драматично, если бы мы были уверены, что рядом с этим существует человеческая натура, социальная сущность, с их собственными ценностями, их

собственной волей. Ведь это создавало бы извечную проблему их отчуждения.

Следовало бы пойти еще дальше и пересмотреть все утопии, связанные с теорией информации. С начала века все ускорилось. Сегодня уже сама информация, ее избыток ведут по пути к всеобщей инволюции.

Знание о событии сегодня является деградированной формой этого события. Низшая форма энергии события. Так же и знание о мнении является деградированной формой этого мнения.

Когда знание посредством своих моделей предвосхищает событие, иначе говоря, когда событию (или мнению) предшествует его деградированная (или же симулированная) форма, вся его энергия поглощается пустотой.

Тотальная прогнозируемость вселенной, к которой так стремится наука, представляет собой в этом смысле наиболее деградированную форму вселенной.

Неужели (контр)финальность науки и информации в том, чтобы путем систематического, хотя и бессознательного ее деградирования предвосхищать конец Вселенной и добровольно теряться в обратной утопии, которая заключается в спасении мира через информацию (хотя здесь, кажется, и просыпаются некоторые проблески нечистой совести)?

Максимальное накопление информации о вселенной может положить конец миру. Как в рассказе Артура Кларка «Девять миллиардов имен Бога»: когда с помощью компьютера их перечислили, миру настал конец, начали гаснуть звезды. Информация таким образом стала единственным средством, спо-

собным положить конец вселенной, которая без нее не исчерпалась бы никогда.

Но, возможно, есть другой, более забавный способ взглянуть на вещи и, наконец, заменить извечную критическую теорию на *теорию ироническую*.

Если учесть неразрешимость опросов, неуверенность их выводов, которые очень похожи на метеорологические гадания, если учесть, что они говорят обо всем, что и так уже известно, что в них никто не верит и они ничего нам не дают (зато мы интересуемся ими все больше и больше), учесть их способность верифицировать одновременно и факты, и противоречивые тенденции, а если результаты неприемлемы, набожно фальсифицировать объективность (как делает это Французский институт общественного мнения [IFOP], когда дело касается смертной казни и проблемы иммигрантов), но главным образом, если учесть то постоянное опровержение, которое мы наносим опросам, особенно когда они «верифицируют» наше поведение, — никто не верит ни в свою «верификацию», ни в совпадение с ее вероятностью, никто не хочет существовать в прообразе того, чем он должен быть, в кривом зеркале своей статистической истины. (Забавный пример этого упрямого отрицания статистической случайности в самом акте ее применения: «Если это может вас успокоить, в Автономном управлении парижским городским транспортом [RATP] подсчитали, что из пятидесяти человек, которые пользуются метро дважды в день в течение шестидесяти лет, только один может подвергнутся опасности или агрессии. Поэтому нет никаких оснований полагать, что это будете именно вы!») Так же как игрок верит

не в случайность, а в Шанс (с большой буквы: в Милость Господню, а не в вероятность), так никто и не отрицает судьбу, вот почему никто не верит в статистику.

Во всяком случае, величие статистики не в объективности, а в ее непроизвольном юморе.

Так и нужно воспринимать вещи, в плане юмора. На ту бесцеремонность, с которой опросы, по сути, трактуют социальное и социальные явления, отвечать в их прочтении и применении по меньшей мере такой же бесцеремонностью. На ту серьезность, с которой они заявляют свое право на трактовку социального, отвечать жестокой иронией над их промахами и всеми их «статистическими погрешностями». Словно какое-то юмористическое провидение выводит из строя этот слишком слаженный механизм и делает так, что из зеркала объективности он сам себе устраивает ловушку. Нечто вроде абсолютного оружия выныривает из самых глубин социального(?), оружия радикальной диссимуляции в ответ на симуляцию ответа, поставленного [mise en scène] опросами и статистикой. Это то, что можно было бы назвать злым духом объекта, злым духом масс, злым духом социального, — то, что вечно сводит на нет истину социального и его анализ.

Дело в том, что объект вовсе не невинен, он существует и он мстит. Неправильное преломление светового луча информации в «предмете исследования [matière]» социального не случайность или дефект устройства, это проявление *духа объекта*, наступательное сопротивление социального его исследованию, которое принимает форму скрытой

дуэли между мастерами опросов и объектом опроса, между массами и политическим классом и т.д. В этой дуэли тот, кто манипулирует объектом, является ужасно наивным, потому что он убежден, что можно во что бы то ни стало заставить объект раскрыть его истину для его же блага. Если же он не понимает вопрос, если он отвечает неправильно или отвечает слишком точно, если он сам задает вопросы, то считается, что это всего лишь форма дезадаптации к аналитическому устройству. Благодаря какому-то фантастическому заблуждению наука всегда уверена в соучастии своего объекта! Она недооценивает его порочность, его иронию, бесцеремонность, его ложное соучастие — все то, что может иронизировать процесс, все то, что питает оригинальную, а возможно, и победную стратегию объекта, противоположную стратегии субъекта.

Если подойти к опросам с этой точки зрения, то увидим, что они функционируют прямо противоположно своим предполагаемым целям. Они функционируют как зрелище информации (информация — это как революция: народ требует лишь ее зрелища), а следовательно, как насмешка над информацией, но главным образом они функционируют как насмешка над политикой и политическим классом.

Непроизвольный юмор опросов (и злорадство, которое мы испытываем от этой «научной» фантасмагории) происходит от того, что они уничтожают всякое политическое доверие. Кто они такие, эти люди, которые нуждаются в опросах, чтобы принимать решения, которым тестирование заменяет стратегию? Они лишены всякой инициативы и сами угодили в ловушку медиума, которому доверяют свою

власть. Все медиа таят в себе эту умопомрачительную ловушку: уничтожают политическую функцию общества, удовлетворяя таким образом ироническое бессознательное толпы, внутренним инстинктом которой остается как раз *символическое убийство политического класса.*

Народ, который всегда служил лишь алиби представительной системе, компенсировал это зрелищем политической сцены. Сегодня он мстит зрелищем своего собственного исчезновения.

Его будто опрашивают, а он изо дня в день, как в домашнем кинотеатре, следит за колебаниями своего собственного мнения в данных опросов.

Только в такой степени он в них верит, как мы за игровым столом верим в прогноз, что удвоение ставок может плохо закончиться. Игра эквифинальности всех тенденций, эффектов достоверности, кругообразности вопросов и ответов и т.д. Быть может, таким образом мы открываем коллективную форму иронического существования, которое в своей высшей мудрости больше не задается вопросами о своих собственных принципах, а предается лишь зрелищу своего исчезновения?

Наилучший пример — массы. Они вовсе не являются объектом угнетения и манипуляций. Поэтому массы не могут быть освобождены, да и не стремятся к этому. Вся их сила (транснационалистическая) заключается в том, чтобы быть чистым объектом, то есть любым политическим попыткам заставить их заговорить противопоставлять свое молчание, *нежелание говорить.* Все пытаются их соблазнить, побудить, подкупить. Инертные, аморфные, бездонные, они сохраняют свой пассивный, непроницаемый сувере-

нитет, они ничего не говорят, но ловко, возможно, как звери в их животном безразличии (хотя массы имеют скорее гормональную или эндокринную природу, это антитела), они нейтрализуют всякую сцену и всякий политический дискурс. То, что эта сцена и дискурс сегодня выглядят настолько пустыми, то, что никакая цель, никакой проект уже не в состоянии встряхнуть политическую сцену, которая сохраняет свою приверженность искусственной драматизации и исполнению бесполезных полномочий, — все это вызвано массовой обсценностью этого огромного молчаливого антитела, вызвано ретракционностью этой безымянной «вещи», которая обладает абсурдной животной силой всасывания и поглощения монстров из научной фантастики, силой, которая на самом деле питает их инертность всей энергией ускорения системы, мириадами информационных единиц, которые эта система выделяет, пытаясь изгнать эту инертность и это отсутствие.

Ничего не поделаешь: *массы являются чистым объектом, то есть тем, что исчезло с горизонта субъекта*, тем, что исчезло с горизонта истории, — так же как молчание является чистым объектом, который исчезает с горизонта речи, как тайна является чистым объектом, который постоянно исчезает с горизонта смысла.

Сила массы-как-объекта просто ошеломляющая.

Массы воплощают чистый объект политического, то есть идеал абсолютной власти, власть смерти над социальным телом, они воплощают пугающую мечту власти — и одновременно они являются пустым объектом, нулевой материализацией, радикальным антителом, недоступным любой политиче-

ской субъективности, а следовательно, абсолютно бесполезным и опасным. Сценарий политического инвертируется: уже не власть ведет за собой массы, а массы подводят власть к пропасти. Поэтому политическим мужам, в пылу соблазнения масс, не мешало бы задаться вопросом: а не они ли стали объектом каннибализма и не придется ли за свой симулякр власти заплатить тем, что их пожрут, так же как самка иногда поедает самца после спаривания?

Все, что субъект когда-либо вменял [constituer] объекту, представляет для него потенциальную угрозу смерти. Объект не принимает свою принудительную объективность, так же как раб не принимает свое рабство. Субъект может лишь мнимо, во всяком случае, эфемерно властвовать над ним, но ему не удастся избежать восстания объекта — молчаливой революции, отныне единственно возможной.

Следовательно, эта революция не будет символической, ослепительной и субъектной, а будет неясной, темной и иронической. Она не будет диалектической, а будет фатальной. Против соблазна всякого объекта раскрыть свой смысл, против возможности всякого объекта быть объектом соблазна и страха все стратегии будут хороши.

Вся информация, непрерывная деятельность медиа, невероятное количество месседжей направленны только лишь на заклинание этой смертельной порчи [contamination]. Информационная, медийная, коммуникационная энергия тратится сегодня лишь на то, чтобы вырвать хоть одну толику смысла, хоть одну крупицу жизни у этого холодного и безразличного антитела, у этой молчаливой массы, чье притяжение все возрастает. Необходимо объединить все

центробежные силы, чтобы избежать этой силы инертности. Отныне, по сути, у информации нет иного смысла, кроме этого.

Главная проблема в том, и всегда будет в том, чтобы анализировать медиа и сферу информации через призму традиционных категорий философии субъекта: воля, репрезентация, выбор, свобода, знание и желание. Ведь вполне очевидно, что здесь они абсолютно противоречивы и что здесь субъект полностью отчуждается в своей суверенности. Существует искажение принципов между этой сферой, сферой информации, и моральным законом, который по-прежнему властвует над нами и который говорит: ты должен знать, что является твоей волей и что является твоим желанием. В этом аспекте медиа, а также наука и техника, нас ничему не поучают, скорее они лишь раздвигают пределы воли и репрезентации, путают карты и лишают всякий субъект способности распоряжаться собственным телом, собственным желанием, своим выбором и своей свободой.

Но эта идея отчуждения всегда была лишь идеальной философской перспективой, предназначенной для гипотетических масс. Она всегда выражала лишь отчуждение самого философа, то есть того, кто *мыслит себя иным*. Гегель очень ясно говорит об этом в своем суждении о *Aufklärer*, философе Просвещения, о том, кто разоблачает «царство заблуждений» и ошибок.

Поэтому достаточно перевернуть идею о массах, которые отчуждаются медиа, чтобы определить, насколько весь медийный мир и, возможно, также мир технический проистекают из тайной стратегии этих

якобы отчужденных масс, из *тайной формы отказа от воли*, из *не*-вольного вызова всему тому, что требовала от субъекта философия и мораль, то есть вызова всякому осуществлению воли, знания и свободы.

В определенном смысле, речь идет уже не о революции, а о массовой *деволюции*, о массовой делегации власти и ответственности либо политическим и интеллектуальным, либо техническим и операциональным системам управления. Массовое обезволивание, массовое отречение от воли. Не через отчуждение или добровольное рабство (тайна которого остается неразгаданной еще со времен Ла Боэси[83], поскольку проблема поставлена в плане согласия субъекта с его *собственным* рабством, в плане отречения субъекта от его собственной сути, но была ли она у него на самом деле?), а благодаря другой, суверенной философии *не*-волия, своего рода антиметафизике, секрет которой в том, что массы (или человек) коренным образом понимают, что они не обязаны выражать свое мнение о самих по себе и о мире, что они не обязаны волеизъявляться, не должны знать, не должны желать. Возможно, самое глубокое желание заключается в том, чтобы передать свое желание кому-нибудь другому. Стратегия дезиллюзии[84] «собственного» желания, дезиллюзии «собственной» воли, стратегия иронического инвестирования, изгнания к другим моральных, политических и философских предписаний.

Для этого и нужны ученые жрецы [clercs] — поборники и пособники желания и концептов. Вся реклама [publicité], вся информация, весь политический класс для того и существуют, чтобы внушать

нам что мы желаем, внушать массам, что они хотят, — и, по сути, мы радостно принимаем эту массовую передачу ответственности, потому что всем просто не очевидно и не интересно: знать, хотеть, мочь, желать. Кто, как не философы, внушили нам все это?

Выбор — это неблагородный императив. Всякая философия, которая обрекает человека на осуществление его воли, может лишь повергнуть его в отчаяние. Потому что, если для одного сознания нет ничего более лестного, чем знать, что оно хочет, то для другого, темного и витального сознания (не-сознания?), которое ставит счастье в прямую зависимость от *бесперспективности воли*, наоборот, нет ничего более завораживающего, чем не знать, что оно хочет, быть свободным от выбора и отвращенным от своей собственной объективной воли. Лучше поддаться чьей-нибудь незначительной прихоти, чем застыть в нерешительности перед своей собственной волей или необходимостью выбора. У Браммела[85] для этого был слуга. Застыв перед великолепным ландшафтом, усыпанном озерами, он обратился к своему слуге, чтобы спросить: «Which lake do I prefer?» Какое из этих озер мне больше нравится?

Мало того, что люди конечно же не желают, чтобы *им внушали*, что они хотят, но они конечно же даже не желают этого *знать*, и даже не уверены, что они желают *хотеть*. Но сталкиваясь со всевозможными домогательствами, где-то из глубины злой дух нашептывает им, что лучше положиться на рекламные или информационные механизмы, которые позаботятся о том, чтобы «убедить» их, сфабриковать

их выбор (или же положиться на политический класс, который позаботится о том, чтобы просветить их насчет положения вещей), совсем как в случае с Браммелом и его слугой.

Так кто пойман в ловушку?

Массы знают, что они ничего не знают, но они и не желают знать. Массы знают, что они ничего не могут, но они и не желают мочь. Их страстно упрекают в проявлении глупости и пассивности. Но это не так: массы полны снобизма, и они поступают, как сноб Браммел: безраздельно делегирует право выбора кому-либо другому, — в своего рода игре безответственности, иронического вызова, полного неволия, тайного коварства. Все медиаторы (политики, интеллектуалы, наследники философов Просвещения в их презрении к массам) по сути, служат лишь для одного — управлять по поручению, по доверенности этим утомительным процессом власти и волеизъявления, освобождать массы от бремени трансцендентности, к их же пущему удовольствию, и предлагать им зрелище в придачу. *Vicarious*[86]: так, если возвратиться к концепту Веблена[87], можно было бы обозначить статус этих «привилегированных» классов, чья воля без их ведома перенаправляется на тайные цели [finalité] тех самих масс, которые они презирают.

Субъективно мы переживаем все это парадоксальным образом, так как в нас эта массовость сосуществует с интеллигентным и волевым существом, которое осуждает и презирает ее. И совсем неизвестно, что же на самом деле противится сознательности. Разве что это самое подавляемое бессознательное, которое нам навязал психоана-

лиз. А наше истинное бессознательное, может быть, наоборот заключается в этой иронической силе отказа, *не*-желания, *не*-знания, молчания, поглощающей всякую силу, *вытесняющей* всякую способность, всякую волю, всякое просвещение, все глубины смысла в структуры личности, окруженные ореолом смехотворности. На самом деле наше бессознательное состоит не из наших собственных *влечений* [pulsions], обреченных на печальную судьбу вытеснения, оно вообще не вытесняется, а состоит в этом радостном *изгнании* [expulsion] всех обременительных суперструктур бытия и воли.

У нас всегда был печальный взгляд на массы (отчуждающиеся), печальный взгляд на бессознательное (вытесняемое). Эта печальная корреляция тяготеет над всей нашей философией.

Просто для разнообразия было бы интересно взглянуть на массы, массы-объект как обладателя делюзивной [обманчивой], иллюзивной, аллюзивной стратегии, коррелирующей, наконец, с ироническим, радостным и соблазнительным бессознательным.

Злой дух страсти

О любви можно сказать все, и о ней невозможно сказать что-либо. Любовь существует, и точка — вот и все. Любят мать, Бога, природу, женщину, птичек, цветы: это слово, ставшее лейтмотивом нашей глубоко сентиментальной культуры, самое пафосное в нашем языке и при этом самое неясное, самое расплывчатое, самое невнятное. По сравнению с кристаллической структурой соблазна, любовь — это жидкий, даже газообразный раствор. Любовь —

это разрешение[88]. Все растворяется в любви, любовью все разрешается. Разрешение, растворение всех вещей в гармонии страсти или в обычном либидо, любовь — это нечто вроде универсального ответа, надежда на идеальное общение, на возможность мира синкретических [fusionnelles] взаимоотношений. Ненависть разъединяет, любовь объединяет. Эрос — это то, что связывает, сопрягает, сочетает, побуждает к ассоциации, проекции, идентификации. «Любите друг друга». Говорил ли кто-нибудь когда-то: «Соблазняйте друг друга»?

Но я предпочитаю форму соблазна, которая поддерживает гипотезу о загадочной дуэли, неистовом побуждении или притяжении, форму, которая является не ответом, а вызовом, скрытой дистанцией и постоянным антагонизмом, что допускает правила игры, — я предпочитаю эту форму и ее пафос дистанции, нежели любовь и ее пафосное сближение. Я предпочитаю дуальную форму соблазна универсальной форме любви. (Гераклит: это антагонизм стихий [éléments], существ и богов, творит игру становления, а не универсальная текучесть и любовное смятение; боги противостоят друг другу и соблазняют друг друга. А любовь, как принцип творения, которая придет вместе с христианством, положит конец этой большой игре.)

Вот почему о соблазне возможно говорить, ведь он является дуальной и внятной формой, тогда как любовь — это универсальная и невнятная форма. Пожалуй, только соблазн и является действительно формой, тогда как любовь — лишь размытая метафора падения существ в индивидуализацию и изобретение, в качестве компенсации, универсальной

силы, влекущей существ друг к другу, — что за проведение, что за чудесное проявление воли, что за гром среди ясного неба, с помощью которого существам якобы предназначено любить друг друга, благодаря какому безумному воображению возможно постичь фразу «Я люблю вас», постичь, что люди любят друг друга, что мы любим друг друга?.. Это не что иное, как безумная проекция всемирного принципа тяготения и равновесия, проекция, которая является чистейшей фантасмагорией. Субъективной фантасмагорией, страстью, исключительно модерной.

Там, где нет ни игры, ни правил, нужно изобрести закон и аффект, способ универсального излияния чувств, форму спасения, которая преодолевает разделение тел и душ, которая кладет конец ненависти, предопределению, дискриминации, судьбе: это наше Евангелие сентиментальности, которое кладет конец соблазну как судьбе.

Это возвышение любви к совершенству божественного права, к этической форме универсальной завершенности (любовь до сих пор служит повсюду моральным оправданием счастья) отбросило соблазн в несколько имморальную сферу, придало ему оттенок некой порочности, сделало из него игру, которая предшествует любви. Любовь остается единственной серьезной или возвышенной финальностью, единственно возможным оправданием [absolution] не заслуживающего оправдания мира. Все робкие попытки придать соблазну некоторое благородство сталкиваются с механизмами сублимации и идеализации, которые является механизмами любви.

Соблазн связан не с чувствами, а с эфемерностью кажимостей, у него нет модели, он не ищет какой-либо формы спасения — следовательно, он имморален. Он не подчиняется морали обмена, он происходит из пакта, из вызова и альянса, которые отнюдь не являются универсальными и естественными формами, — это искусственные и инициационные формы. Следовательно, он откровенно порочен.

Дело осложняется еще и игрой слов. Ни соблазн, ни любовь не являются точными понятиями (им не нашлось места ни в крупных концептуальных системах, ни в психоанализе), поэтому они могут свободно чередоваться или перепутываться. Таким образом, если считать соблазн вызовом, игрой, которая никогда не заканчивается, непрерывным ритуальным обменом, бесконечным повышением ставок, тайным сговором и т.д., то можно всегда возразить: «Но если так, то не является ли соблазн все той же любовью?»

Можно даже инвертировать соотношение и сделать из любви нечто более острое, более вызывающее, чем соблазн. Любовь является «осуществлением» лишь тогда, когда она представляется, так сказать, нарциссически: я люблю другого, потому что он похож на меня, таким образом, я удваиваюсь — я люблю другого, потому что он моя противоположность, таким образом, я дополняюсь. Но можно представить любовь как безвозмездность, как устремление к другому, которое не ждет ответа, как вызов, который побуждает другого любить меня больше, чем я его люблю, а следовательно, как бесконечное повышение ставок. В то время как соблазн можно

рассматривать как игру, которая доводится до конца, как тактику, которая призвана манипулировать другим в своих собственных целях.

На эту инверсию понятий нечего возразить. Соблазн и любовь могут обмениваться своими самыми возвышенными и самыми вульгарными значениями, что делает разговор о них практически невозможным. Тем более что сегодня нас охватило *воскрешение* любовного дискурса, реактивация чувства от скуки, от пресыщения. Эффект симуляции любви. Безумная любовь, любовь-страсть давно мертвы в своих героических и возвышенных устремлениях. То, что сегодня разыгрывается, — это *спрос* на любовь, чувство, страсть, ведь в наше время потребность во всем этом чувствуется особо остро. Целое поколение прошло через либерализацию желания и удовольствия — и это утомленное сексом поколение повторно изобретает любовь как эмоциональное или чувственное дополнение. Иные поколения, романтические и постромантические, переживали ее как страсть, как судьбу. Наше же поколение всего лишь неоромантическое.

После такого сексуального пафоса — неопатетика любовных отношений. После либидинизации и инстинктивизации — неоромантизм страсти. Однако речь идет более ни о судьбе, ни о фатальности, а всего лишь о том, чтобы высвободить, среди прочего, потенциал и после длительной фазы «репрессивной десублимации», перефразируя Маркузе[89], расчистить путь прогрессивной ресублимации.

Секс, как, впрочем, и производственные отношения, был слишком прост. Никогда не поздно преодолеть Фрейда вместе с Марксом.

И так, налицо лишь выкройка [façon] любви, которая является только пеной на поверхности сексуальной культуры, и не следует питать слишком больших иллюзий по поводу оживления вокруг этой новой диспозиции. Формы симуляции настолько притерлись между собой, что уже ничто не может противостоять их взаимодействию, поэтому секс, любовь, соблазн, перверсия, порно — все это может сосуществовать в одном либидинальном диапазоне, так же как звуки в стереодиапазоне, сосуществовать без исключения (и на равных основаниях), с благословения психоанализа. Стереофонический концерт: к сексу добавляется любовь, страсть, соблазн, точно так же как к конвейерной линии добавили психосоциологию и согласованность действий.

Эта ситуация интересна как симптом истощения всей обсценной констелляции сексуальности (обсценной не из-за самого секса; но из-за обсценности истины, которая обнажается, когда ее произносят). Мы подошли к завершению цикла сексуальности как истины. Это снова делает возможным возвращение к формам, чьи контуры [profil] и шарм находились в тени гегемонистской перспективы секса.

Восстановить некоторое подобие различения, иерархии всех этих фигур, то есть соблазна, любви, страсти, желания, секса, без сомнения, абсурдное пари, но это единственное, что нам остается.

В нашей культуре соблазн испытывал нечто вроде золотого века, начиная с эпохи Возрождения и до XVIII века: тогда он был, также как и политес,

или придворные манеры, конвенциальной аристократической формой, стратегической игрой, без какой-либо особой связи с любовью. В дальнейшем любовь для нас имеет разные тональности, романтические и романические: это уже не игра и не церемониал, это страсть, это дискурс. Это сила желания, которая охватывает нас, это смерть, которая влечет нас. Ничего общего с соблазном. Конечно, любовь приобретала и куртуазные формы в средиземноморской культуре XIII века. Но нынешнее ее понимание выдумали в основном на рубеже XVIII—XIX веков, и направлено оно *против* поверхностной игры соблазна. Происходит разрыв между формой дуальной игры, стратегической иллюзией и новой, индивидуальной финальностью, исполнением желания — грандиозное восхождение констелляции желания, будь то сексуальные и психические стремления индивида, или политические устремления масс. Как бы то ни было, это желание и его «либерализация» больше не имеет ничего общего с аристократической игрой вызова и соблазна.

Еще один момент: соблазн языческий, а любовь христианская. Это Христос велел любить ближнего и Себя. Религия становится страстью, страданием и любовью, чего не было в архаичных культурах и античных мифологиях, для которых верховная власть [souveraineté] мира заключалась в упорядоченной игре знаков и кажимостей, в церемониальности и метаморфозах, а следовательно, преимущественно в действии соблазна. Никакой страсти во всем этом не было, никакой любви, ничего от возвышенного, божественного или естественного потока, также как не было и потребности в психоло-

гии, в этой субъективной внутренней жизни, где расцветет миф о любви*.

Существовал лишь ритуал, и принадлежал он к порядку соблазна. Любовь возникает из разрушения ритуальных форм, из их либерализации. Ее энергия — это энергия распада этих форм, в том числе магических ритуалов соблазна мира (которые находят свое продолжение в христианских ересях, в виде манихейского или максималистского отрицания реального мира). Жестокие, суровые формы, знак в его чистом функционировании, противопоставленном реальности мира, господство чистой кажимости, без психологии, без страсти, без любви. Эти культуры отмечаются максимальной интенсивностью, любовь и вся ее метафизика спасения возникают словно из их расщепления, из извержения до тех пор тайных, инициационных форм, интенсивно соперничающих между собой. Если любовь, прозелитская, излучающая, экстенсивная энергия, экзотерична, то ритуал эзотеричен. Любовь — это экспрессия, страстность, признание, коммуникация, а следовательно, переход энергии из потенциального, концентрированного состояния к стадии высвобождения, излучения, тепловой стадии, но также, следовательно, к состоянию застоя и упадка (хронической деградации). Таким образом любовь является закваской [ferment] народной,

* Но если взять соблазн в христианском понимании, то все меняется: соблазн начинается вместе с христианством, он является дьявольским колдовством, которое призвано возмутить божественный порядок, или даже это сам Христос, потому что, согласно Ницше, тот пришел соблазнить людей своим человеческим обликом, развратить их психологией и любовью. И наоборот, никакого соблазна в Греции, где любовь гомосексуальная и педагогичная — не страсть, а добродетель.

демократичной религии — в противоположность иерархическим и аристократическим порядкам, которые регулируются правилом.

Любовь — это конец правила и начало закона. Это начало беспорядка, когда вещи располагаются согласно страсти, эмоциональному инвестированию, то есть тяжеловесной, обремененной смыслом субстанцией, а не согласно игре знаков, более легковесной, пластичной, более поверхностной субстанцией. Бог начинает любить своих ближних, чего он никогда ранее не делал, и мир перестает быть игрой. Мы унаследовали все это — и любовь является лишь следствием этого растворения правила и энергии, выделяемой этим смешением. Таким образом формой, противоположной любви остается соблюдение ритуала: всюду, где повторно изобретается правило и игра, любовь исчезает. По сравнению с регулируемой и исключительно конвенциональной интенсивностью игры или церемониала, любовь представляет собой систему свободно циркулирующей энергии. Следовательно, она ответственна за всю идеологию либерализации и свободной циркуляции, в ней весь пафос модерности.

Характерной чертой такой универсальной страсти, как любовь, является то, что она индивидуальна и что каждый в ней находит только себя. Соблазн имеет дуальный характер: я не могу соблазнить, если я уже не соблазнен, никто не может соблазнить меня, если он еще не соблазнен. Никто не может играть без другого, это принципиальное правило. В то время как любить я могу без взаимности. Если я люблю, а меня не любят, то это моя проблема. Если я не люблю тебя, то это твоя проблема. Если кто-то мне не нравит-

ся, то это его проблема. Вот почему ревность является естественной чертой любви, в то время как соблазну она чужда, — эмоциональная связь всегда не уверена, в то время как пакт о знаках однозначен и обязателен. Кроме того, соблазнять кого-то не означает, что в него инвестируют или психологически поглощают, соблазн не знает этой территориальной ревности, которая присущая любви.

Я не хочу сказать, что любовь — это лишь ревность, но к ней всегда приобщается хорошо темперированная[90] ревность, какое-то субъективное требование эксклюзивности. Возможно, ревность даже предшествует любви: первоначально страстность была присуща греческим богам, не знавшим ни любви, ни сентиментальности, однако ужасно ревновавшим друг к другу.

Любить кого-то — значит изолировать его от мира, стирать его следы, лишать его собственной тени, увлекать за собой в смертельное будущее. Любить кого-то — значит, вращаться вокруг него как мертвая звезда, и погружать его в черный свет. Вся ставка сделана на запредельное требование эксклюзивности на все человеческое существо как оно есть. Именно поэтому она и есть страсть, то есть ее объект интериоризируется[91] как идеальная цель [fin], а мы знаем, что идеальным объектом является лишь мертвый объект.

Следовательно, по сравнению с соблазном любовь является более рыхлой формой, более разбавленным раствором [solution] и даже процессом разложения [dissolution]. Впрочем, разложения патетического, по крайней мере в его самых возвышенных формах, например тех, что породили роман. Эта

патетическая выразительность исчезнет в результате следующей перипетии, которая превратит любовь в простую сексуальность. Последняя — всего лишь способ артикуляции отношений, основанный на «объективных» различиях между полами. Соблазн еще церемониален, любовь еще патетична, сексуальность — всего лишь отношения [relationnelle]. От одной формы к другой ставка знаков все больше исчерпывается в пользу органического, энергетического и экономического функционирования, основанного на наименьшем возможном различии, которым является различие полов.

На самом деле это мистификация — половое различие выдавать за первоначальное, основополагающее различие, такое, из которого вытекают все другие, или же все они являются лишь его метафорами. Это игнорирование того, что издавна люди продуцировали намного большую дифференциальную интенсивность посредством искусственных структур, а не исходя из особенностей тела и биологии. По крайней мере, они всегда рассматривали «естественные» различия лишь как частный случай искусственных. В буквальном смысле чистая половая дифференциация не представляла никакого интереса (другое дело Инь и Ян: это два метафизических полюса, между которыми существуют напряжения, организующие мир). В некоторых культурах дифференциация воин/*не*-воин, брахман/*не*-брахман имеет вес гораздо больший, чем половое различие: они продуцируют большую дифференциальную энергию, с большей строгостью и сложностью упорядочивают вещи. Во всех культурах, кроме нашей, различение живого и мертвого, благородного и неблагородного, посвя-

щенного и непосвященного гораздо сильнее, чем различение полов. Фактически, сексуальность, в своей биологической и претенциозной очевидности, отмечает самое слабое и самое незначительное различие, то, которое приходит, когда все другие теряются.

Всякий натуралистический принцип дифференциации неизбежно незначительнее, он далек от того, чтобы породить мощь искусственности знаков, тщательный распорядок, *мировой церемониал.*

- соблазн — эра эстетического и церемониального различия между полами;
- любовь (страсть) — эра этического и патетического различия между полами;
- сексуальность — эра психологического, биологического и политического различия между полами.

Именно поэтому соблазн и более внятный [intelligible], чем любовь, ведь он разыгрывается в наивысшей, дуальной, совершенно дифференциальной форме. Секс же, среди всех дифференциальных форм, более всего приближается к недифференцированности. Что же касается любви, то она всегда занимает промежуточное место в спектре: награни соблазна и секса, она выражает мир, который двигается от чистой формы различения к чистой форме неразличения, — но у нее нет собственной формы и, как таковая, она не поддается описанию. Таинственна вовсе не дуальная фигура соблазна, а скорее индивидуальная фигура субъекта во власти своего собственного желания или в поисках своего собственного образа.

Судьба также преподносит себя с ошеломляющей очевидностью — остается объяснить только *не-*

судьбу. Впрочем, все, что можно сделать, это найти ее причины. Потому что, как и о банальности любви, о ней коренным образом нечего сказать.

Соблазн не таинственен — он загадочен.

Как и в тайне [secret], в загадке нет ничего непонятного. Напротив, она полностью интеллигибельна, но ее нельзя высказать, нельзя раскрыть. Такой неизъяснимой очевидностью является и соблазн. Такой является и игра: в основе любой игры лежит фундаментальное и скрытое [secrète] правило — загадка, однако сам процесс не таинственный, нет ничего более понятного, чем ход игры.

Любовь ответственна за все тайны мира, но в ней нет загадочности. Напротив, она обременена смыслом и принадлежит не к порядку загадки, а к порядку отгадки. «Любовь — ключ к загадке» или уж совсем брутально: «Вся истина — в сексе». (Истина, которая чудесным образом обнаружилась в XX веке, но с чего вдруг? Не верьте ей: загадка остается неразгаданной и сохраняет всю свою силу соблазна.)

Чем дальше от одной фигуры к другой, от соблазна к любви, затем от желания к сексуальности и, наконец, к откровенной порнографии, тем больше мы приближаемся к малейшей тайне, малейшей загадке, к признанию, экспрессии, разоблачению, разрядке — короче говоря, к истине, которая в обсценности нашей культуры очень скоро превращается в принудительное выдавливание истины, вынужденное признание, насаждаемое разоблачение... вот только чего? А ничего — разоблачать-то как раз и нечего.

Откуда взялась эта безумная идея о том, что можно раскрыть тайну, выставить напоказ голую сущность, достичь радикальной обсценности? Это

само по себе утопия — это не реально, и никогда не было реальным, — об этом знает соблазн и сохраняет свою загадку. Все другие формы, и любовь в особенности, болтливые и многословные. Они много говорят, они хотят высказать слишком многое. Любовь много говорит, любовь — это дискурс. Она высказывает себя и часто достигает кульминации в этом признании [déclaration], на чем и заканчивается. Акт речи в высшей степени неоднозначен, почти неприличен, такие вещи не высказываются — как можно сказать кому-то: «Я вас люблю»? — такие вещи слишком хрупки, чтобы быть замкнутыми в тесном пространстве высказывания, хотя, может быть, они только в нем и живут, в таком случае у них и вовсе нет никакой тайны. Такие вещи живут лишь их умолчанием или антифразой: «Не люблю я вас, и все тут» или же: «Я с вами больше не разговариваю» — эти фразы еще нагружены вызовом и интригой соблазна, угрозой любви и в своем отказе от признания, в изяществе отрицания, все еще сохраняют статус игры и легкость введения в заблуждение.

Впрочем, к счастью, фраза «Я вас люблю» не говорит то, о чем она говорит, и услышать ее надо иначе. Услышать в соблазнительном модусе (у всех глаголов есть скрытый модус: за изъявительным и повелительным наклонениями стоит соблазнительный).

Соблазн — это модальность всякого дискурса, включая дискурс любви (по крайней мере, на это надо надеяться), он играет со своим высказыванием и касается другого обратной стороной того, что он высказывает. Таким образом «Я вас люблю» сказано не для того, чтобы дать понять, что вас любят, а чтобы вас соблазнить. Это предложение, которое

колеблется между двумя аспектами и, таким образом, сохраняет неразрешимый шарм кажимости, того, что не имеет смысла, а следовательно, абсолютно напрасно и опрометчиво хоть сколько-то в него верить. Поверить в «Я вас люблю» значит положить конец всему, включая любовь, так как это значит придать смысл тому, что его не имеет.

Но так бывает в лучшем случае тогда, когда двусмысленность еще управляет дискурсом. В случае сексуальной потребности нет и следа двусмысленности. Здесь все обозначено, все сказано, в потребности нет тайны, все существует в своем выражении. Если это всего лишь признание в желании, то для признания достаточно найти слова, игра кажимостей здесь ни к чему. И тогда «Я вас люблю» принимает другой оборот: оно уже совсем не соблазнительное, а лишь отчаянно желательное наклонение: «Я прошу любить вас», «Я прошу, чтобы вы меня любили».

Можно согласиться с Лаканом[92]: нет сексуальных отношений, нет истины секса. И «Я тебя люблю», и «Я тебя хочу» говорят совсем об ином: либо о соблазне, либо лишь выражают потребность в любви, потребность в желании — и никогда не говорят о самой любви или о сексе. Поэтому это всегда несостоявшееся свидание, и сексуальность; как говорит Лакан, лишь история этого несостоявшегося свидания. Но это еще не все, потому что утонченная спираль соблазна описывает вовсе не историю, а игру этого несостоявшегося свидания и то, какое иное удовольствие можно извлечь из этого обворожительного и абсурдного различия, которое природа установила между полами.

Таким образом то, что было вызовом и соблазном, заканчивается заботой. Секс, желание, страсть как забота. Соблазняйте меня, любите меня, доставьте мне удовольствие, позаботьтесь обо мне. Характерная и навязчивая черта, которая может дойти чуть ли не до фетальной [эмбриональной] потребности в любви (фетальные стратегии). Уже в течение двух или трех веков все формы любви (включая любовь к природе) сверхопределяются [overdetermination] в нашей культуре материнской любовью и сентиментальностью, которая из этого вытекает. Неподвластен этому лишь соблазн, потому что он не потребность, но вызов, — он противостоит подобной любви так же как дуальное противостоит синкретичному.

Эта любовь является лишь чем-то вроде плавающего либидо, которое распределяется почти везде и отчаянно пытается инвестировать свою оборачиваемость согласно экономике, которая больше не является экономикой систем страсти, но экономикой подсистем интенсивности, холодных и бесстрастных. *Экологичное* либидо — специфический продукт нашей эпохи: распределенное повсюду в гомеопатических и гомеостатических дозах, оно является тем минимальным приростом [différentiel] страсти, которого достаточно, чтобы поддерживать социальный и психологический спрос[93]. Поскольку оно плавающее, то его потоки можно регулировать, отводить, направлять из одной экологической ниши в другую: оно идеально соответствует порядку манипуляции.

Так энергия распада соблазна переходит в страстный порядок любви и заканчивается в алеаторном порядке спроса.

К счастью, существует обратная реакция, которая исправляет все только что сказанное по поводу просьбы [спроса]. Потому что если отвечать на нее теми же словами, которыми она обращается (или *делает вид*, что обращается) к вам, то можно совершить грубую ошибку. Возможно, что она просто истерически умоляет, чтобы ее опровергли, отвергли, обманули в ожиданиях, чтобы ответом было, что этого никогда не произойдет. Как и любое рассуждение [discours] произносится лишь с надеждой на то, что его оспорят и отвергнут, так и просьба может лишь умело играть признанием в желании, призывом внимания со стороны другого для того, чтобы поставить ему ловушку, завлечь его, а следовательно, соблазнить.

Если по своей сути просьба является таковой, если она является еще и этим, то отвечать на нее было бы ошибкой. Именно поэтому и не возникает особого желания отвечать на просьбу (люби меня, соблазни меня, доставь мне удовольствие), тогда как ответ на вызов или соблазн происходит спонтанно. И если в амбивалентности просьбы кроется что-то вроде попытки соблазнить, то и лучший способ ответить на нее — это соблазн.

Таким образом все формы в конечном счете оборачиваются сами на себя — обратная реакция обратимости, — и это объясняет, почему трудно об этом говорить. Не потому, что нельзя что-то сказать, а потому, что нельзя сказать ни о чем — так порядок обратимости берет верх [revanche] над линейным порядком дискурса. Эту трудность, к счастью, невозможно преодолеть никогда, в то время как всегда можно говорить, когда нечего сказать.

Любовь никогда не была столь прекрасна, как в легендах и романах. Это таинственная страсть породила романическую форму — или наоборот? Неразрешимый вопрос. Но, прежде всего: существует ли то самое душевное движение любви?

Тристан и Изольда. Самая возвышенная история, история фатальной любви. И все же примечательно, что в этой изумительной истории любовь не пробуждается сама и не живет сама собой — для этого нужно любовное зелье. Героев связывает вовсе не какая-то стихийная форма влечения, а жестокое предопределение, которое имеет *искусственный* характер в том смысле, что является фиктивным, акцидентальным и неотвратимым пактом, а не естественным душевным движением. Судьба — всегда колдунья, она всегда проходит через трагическую иллюзию знаков. И любовное зелье (которое было бы ошибочно интерпретировать в психологическом смысле как «метафору страсти») — знак вторжения этого колдовского эффекта. Вся страсть Тристана и Изольды — вызов существованию божественного права: известно, что оба влюбленных были признаны святотатцами. Дело в том, что зелье, которое они принимают, это кощунство, закрепляющее пакт соблазна и предопределения, полностью противоречащий законам любви божественного права, где знаки обмениваются между собой в своей идеализированной форме.

Итак, снова возвращаемся к тому же: любви не существует. Она должна существовать, но не существует. У влюбленных романтической эпохи не было другого выхода, кроме как совершить совместное самоубийство, чтобы абсолютизировать невозмож-

ный обмен. Возвышенность любви — в антиципации своей собственной смерти. Любовь-страсть может существовать лишь в этом антиэротическом, антиестественном головокружении, которое никогда не может быть образом жизни. Ничего общего с нашим образом любовной жизни, идеальной встречей двух желаний и двух удовольствий.

Можно, впрочем, задаться вопросом: не изобрели ли эту форму банализированной любви, ставшей формой обмена (эмоционального и полового), чтобы избежать фатальности другого?

Производить обмен и знаки обмена — единственный способ избежать судьбы и бессмысленных [insensé] знаков. Никакого любовного зелья, никакого вызова. Ни страсти, ни нежности [tendresse]. Таким образом жизнь защищается от смертоносных форм искусственности и жертвенности. От соблазна, будь то соблазн смерти или соблазн самой любви, когда вместо образа жизни или любви он превращается в убийственную фривольность, которая отвлекает нас от нашего собственного конца [fin].

Среди основных фривольностей произвольного использования удовольствия и неудовольствия — фигура судьбы. Такое использование относится к компетенции одного лишь Бога. Среди второстепенных фривольностей — возможность любить и быть любимым. Это оставлено человеческим существам — патетическая констелляция настроений, желаний и выражений лиц.

Большинство вряд ли хотят, чтобы их соблазняли, они хотят, чтобы их любили. Им хочется испытывать страсть, удовольствие и радость семейной

жизни. Очевидно, надо стремиться, чтобы тебя любили из страха быть соблазненным, несомненно, нужно любить, чтобы не соблазнять.

Любовь — это нечто вроде психологического инцеста, патетического сближения в противостоянии жестокой игре соблазна.

В сущности, у любви нет никакого собственного [душевного] движения (Eppur si muove![94]). Или же оно отменяется порядком вызова и судьбы. Или отменяется в форме обмена и просьбы [спроса]. Как в том анекдоте где ссорятся два супруга. Жена упрекает мужа: «You give me love because you want sexe!» (Ты даешь мне любовь, потому что хочешь секса!) А муж в ответ: «You give me sex because you want love!» (Ты даешь мне секс, потому что хочешь любви!).

Когда секс и любовь приобретают мирскую форму домашней экономики, они вполне могут стать предметом обмена. Как только они теряют возвышенную [sublime] форму судьбы, они низвергаются в подсознательную [subliminale] форму обмена. И здесь возможны любые компенсации и замещения: ты даешь мне секс, я даю тебе любовь.

Во всем том, что является обменом, есть возможности размена. Но не в соблазне, который точно является не обменом, а вызовом. В соблазне не может быть равновесия, оптимизации обменных отношений, что так непросто, но все же возможно на уровне секса. Вот почему единственной действительно смертельной депривацией[95] является депривация соблазна.

В этом и заключается смысл того анекдота, ведь оба супруга в этой ссоре только и делают, что фактически разоблачают [dénoncer] возможность дву-

стороннего обмена. И единственное, чего они хотят, — это соблазн!

Во всяком случае, единственное, что вам никогда не простит женщина, это не то, что вы ее не любите (с любовью или сексом всегда все улаживается), а то, что вы ее не соблазнили или же что она не соблазнила вас. Этого ничем не искупишь, и какую бы любовь и нежность вы ей ни давали, в конце концов она всегда будет использовать их для жестокой мести. Не сумев соблазнить, она будет стремиться вас уничтожить. Все любовные и сексуальные грехи можно простить, потому что они не являются оскорблением. Лишь соблазн трогает за живое душу, которая находит покой лишь в убийстве.

Отсюда и проистекает то, что я называю злым духом страсти.

В основе самых страстных, самых прекрасных и самых отчаянных порывов всегда кроется злой дух, который изо всех сил старается поймать другого в ловушку.

Даже в самый наивный и самый безумный момент любви есть дьявольское искушение иронически отогнать ее перверсивным действием.

Есть нечто сильнее, чем страсть: иллюзия. Сильнее, чем секс или счастье: страсть иллюзии. Соблазн, соблазн, всегда соблазн. Расстроить эротическую силу властной силой игры и стратагемы, устроить ловушку в самом опьянении любви и прямо с седьмого неба мастерски проторить ироническую дорогу в ад — это и есть соблазн, это и есть форма иллюзии, это и есть злой дух страсти.

ОБЪЕКТ
И ЕГО СУДЬБА

Верховенство объекта

«Субъект может лишь желать — только объект может соблазнять».

Мы всегда переживали блеск субъекта и нищету объекта. Субъект творит историю, субъект подытоживает мир. Субъект индивидуальный или коллективный, субъект сознания или бессознательного — идеал всякой метафизики, этот мир-как-субъект; объект — лишь перипетия на царской дороге субъективности.

Судьба объекта, насколько мне известно, никогда никого не интересовала. Как таковой, он даже не был понят: лишь отчужденная часть, проклятая доля[96] субъекта. Объект позорный, обсценный, пассивный, проституированный, он является воплощением Зла, чистого отчуждения. Раб, который может возвыситься лишь в диалектике господина и раба, где едва брезжит свет нового евангелия надежды на то, что объект будет преображен в субъект.

Но предчувствовал ли кто-то когда-либо собственную силу, суверенную власть объекта? В нашем мышлении, где на главном месте стоит желание, субъект сохраняет абсолютную привилегию, поскольку именно он желает. Но если на главное место поставить соблазн, все выходит наоборот.

Здесь уже главный не субъект, который желает, а объект, который соблазняет. Все исходит из объекта и все возвращается к нему, так же как все исходит из соблазна, а не из желания. Извечная привилегия субъекта инвертируется. Ведь субъект слишком уязвим, он может лишь желать, в то время как объект очень хорошо играет на отсутствии желания. Он соблазняет этим отсутствием желания, играет с другим эффектами желания, бросая тому вызов или же отменяя его, вдохновляя или же разочаровывая — и об этой его способности хотели или предпочитали забыть.

Почему же отдавали приоритет позиции субъекта, зачем же поддерживали эту фикцию его воли, сознания или даже бессознательного? Дело в том, что у него есть экономика и история, что очень обнадеживает, он — баланс воли и мира, побуждения и цели [objet], он — принцип мирового равновесия, и это снова обнадеживает, ведь тогда это значит, что он неподвластен сложному, чудовищному и захватывающему миру, жестокой и алеаторной вселенной соблазна, идущего откуда-то извне, это значит, что он ни объект и ни жертва всех окружающих форм — живых или мертвых — и что его не пронизывают бесконечные соблазны. Он был хорошо защищен, этот субъект: со всеми своими влечениями, желанием и волей он крепко окопался в своем имении [fief], вооруженный до зубов, чтобы никогда не стать объектом чего бы то ни было.

То, что субъект был подвергнут сомнению и расследованию [mise en cause] ничего не изменило в метафизическом постулате его превосходства: призванный пустить в ход, *в качестве субъекта*, его

слабость, его уязвимость, его феминность и его смерть, призванный отказаться от себя как такового (не только как субъекта психологии, но и субъекта власти и знания), он лишь оказался охваченным мелодрамой своего собственного исчезновения — он уже не может изменить себе, потрясти свои основы, ища *джентльменское соглашение* со своим объектом — миром, насчет которого он был уверен, что обуздал его в своих интересах. Но отсюда следует лишь путаница, которая отражает сегодня все перипетии его «либерализации». Итак, субъект, метафизика субъекта, была прекрасна лишь в своей гордыне, в своем произволе, в своей неиссякаемой воле к власти, в своей трансцендентности субъекта власти, субъекта истории или же в драматичности своего отчуждения. Когда он сбросил все это, как змея кожу, от него осталась лишь жалкая оболочка, борющаяся со своим собственным желанием или своим собственным образом, неспособная управлять связной репрезентацией мира и напрасно жертвующая собой над трупом истории в тщетной попытке ее воскресить.

Субъект не может поставить на кон ни свою собственную уязвимость, ни свою собственную смерть по той простой причине, что он был выдуман в попытке защититься от них, наряду с соблазнами (искушениями судьбы, например), которые могли бы повлечь за собой гибель. В силу его самосбережения [économie] — это неразрешимое противоречие. И поэтому сегодня *позиция субъекта стала просто несостоятельна*. Никто сегодня не в состоянии взять на себя ответственность как субъект власти, субъект знания, субъект истории. И никто, впрочем, да-

же не пытается. Никто больше не может взять на себя эту непосильную роль, которая начала тонуть в насмешках вместе с миром психологии и буржуазной субъективности, чтобы сегодня оказаться просто стертой в транспарентности и безразличии. Мы переживаем конвульсии этой субъективности, и новости на этом еще не закончились, но это даже более драматичная: проблематика отчуждения рухнула. И очевидность желания стала мифом.

Таким образом, мы приходим к парадоксу, что в этой ситуации [conjoncture], когда позиция субъекта стала несостоятельной, единственно возможной позицией является позиция объекта. И единственно возможная стратегия — это стратегия объекта. Здесь подразумевается не «отчужденный» объект, который находится в процессе «разотчуждения», не порабощенный объект, который отстаивает свое право на автономию субъекта, а такой объект, который бросает вызов субъекту, отсылает к его неразрешимой позиции субъекта.

Тайна этой стратегии заключается в следующем: объект не верит в собственное желание, объект не живет иллюзией собственного желания, объект не имеет никакого желания. Он не полагает, что ему принадлежит что-либо на правах собственности, не питает фантазии относительно реапроприации или автономии. Он не стремится полагаться на собственную природу, даже если это природа желания, но поэтому не знает инаковости и является неотчуждаемым. Он не разобщен сам по себе, что является судьбой субъекта, и он не знает стадии зеркала, где он мог бы быть захваченным своим собственным воображаемым.

Он ЯВЛЯЕТСЯ зеркалом. Он — то, что отсылает субъект к его смертельной транспарентности. И если он может зачаровывать и соблазнять, то именно потому, что не излучает собственную субстанцию или сигнификацию. Чистый объект, он является суверенным, потому что он то, обо что разбивается суверенитет другого, и тот попадает в свою собственную ловушку. Кристалл мстит.

Объект — это то, что исчезло с горизонта субъекта, и именно из глубин этого исчезновения он обволакивает субъект своей фатальной стратегией. И тогда субъект исчезает с горизонта объекта.

Это касается сексуального объекта, который черпает свою силу в отсутствии желания, это касается масс, которые черпают свою силу в своем молчании.

Желания не существует, *единственное желание состоит в том, чтобы быть судьбой другого*, стать для него событием, превосходящим всякую субъективность, поражающим своим фатальным наступлением любую возможную субъективность, освобождающим субъект от его целей [fins], от его влияния [présence] и от всякой ответственности перед самим собой и перед миром, в *страсти наконец-то однозначно объективной.*

Возможность и воля субъекта, которая помещается в трансцендентальный центр мира и мыслится как универсальная причинность под знаком закона, знатоком [maître] которого остается субъект, эта воля не мешает ему втайне ссылаться на объект как на фетиш, талисман, как на фигуру инверсии причинности, как на место резкой утечки [hémorragie] субъективности. «За субъективностью

кажимостей всегда стоит скрытая [occulte] объективность."

Вся судьба субъекта переходит к объекту. Универсальную причинность ирония подменяет фатальной мощью сингулярного объекта.

Фетиш иллюстрирует глубокое возражение [objection], которое мы обрекаем на обычную причинность, на нелепое требование признавать причину за каждым событием, а каждое событие за причину.

Всякое следствие величественно [sublime], если оно не сводится к своей причине. Впрочем, лишь следствие неизбежно, причина случайна.

Фетиш совершает это чудо устранения случайности [accidentalité] мира и заменяет ее абсолютной неизбежностью.

В восприятии причин мы ощущаем лишь относительную неизбежность — а следовательно, и относительное счастье. Нас восхищает лишь абсолютная, экстатическая неизбежность. Именно это осуществляет чистый и сингулярный объект, в котором мы сразу получаем всю интерцессию[97] мира.

Мы можем жить в универсальном, преследовать объективные цели, распределять нашу жизнь в чистых формах различия, мы можем давать вещам более или менее рациональную оценку (которая все же никогда не равняется той оценке, с которой мы согласны), однако нам совершенно необходимо, чтобы в какой-то момент счастье и несчастье, и даже сам факт жизни воплощался в абсолютно сингулярном существе или вещи, которая больше не соответствует какому-либо универсальному определению, но к которой устремляются, под ви-

дом специфической, неоправданной, абсолютно искусственной по отношению к «естественным» качествам этого объекта страсти, все обобщенные [résumées] формы идентичности и инаковости.

Ничто не может избежать этого опыта инвестиции объекта — именно такого объекта, — во всей скрытой [occulte] силе объективности. Этот опыт входит в число абсурдных пари, которые мы заключаем, в том числе и знаменитое доказательство [пари] Паскаля о существовании Бога[98].

Надо полагать, что это пари, которое мы заключаем, имеет какие-то резоны, потому что если здравый смысл [raison] говорит, что отдельный объект не может лежать в основе мира, а наоборот, что именно этот объект и должен быть объективно объяснен на основе всех данных о мире, если этот резон не может поколебать наше убеждение, если вопреки этой рациональной очевидности мы продолжаем поклоняемся миру в виде невнятной квинтэссенции одной из его деталей, то это значит, что и сам этот резон, в свою очередь, гипотетическое пари.

Больше не объяснять вещи, не распределять их в объективной детерминации и в неопределенной системе отсчета, а, наоборот, имплицировать весь мир по единственной его детали, целое событие по единственной его черте, все силы природы по единственному ее объекту, живому или мертвому, чтобы отыскать тайный [ésotérique] пропуск, кратчайший путь к чистому объекту, который не имеет ничего общего с распределением смысла и ни с кем другим не делится своей тайной и своей силой.

Абсолютный товар

Абсолютный объект — это объект с нулевой ценностью и нейтральным [indifférente] качеством, но который неподвластен объективному отчуждению, потому что становится более объектом, чем объект, — и это придает ему фатальное свойство.

Это восхождение к крайностям, это вдвойне революционное движение, поскольку оно отвечает на *отчуждение в его же собственных терминах*, непреклонно следующее путями индифферентности, оказывается предвосхищено в абсолютном товаре Бодлера*.

---

* Джорджо Агамбен[99], *«Стансы»*: «Он [Бодлер] утвердил новый характер, который приобрел объект благодаря превращению в товар и оказался способным осознать ту притягательную силу, с которой этот характер фатально влияет на произведение искусства... Величие Бодлера заключается в том, что на вторжение товара он ответил превращением в товар и фетиш самого произведения искусства...

Иначе говоря, в произведении искусства он отделил потребительную стоимость от меновой стоимости... отсюда и его непримиримая полемика против любой утилитарной интерпретации произведения искусства... его настойчивость на неосязаемом характере эстетического опыта и его теория прекрасного как мгновенной и непостижимой Эпифании[100]. Аура холодной неосязаемости, которая начинает с тех пор окружать произведение искусства, эквивалент фетишизированного характера, который приобрел товар благодаря меновой стоимости...»

«Бодлер не довольствовался тем, чтобы воспроизводить в художественном произведении раскол между меновой и потребительной стоимостью. Он намеревался создать товар в некотором роде *абсолютный*, в котором процесс фетишизации достиг бы такой степени, что аннулировал бы саму реальность товара как такового. Товар, в котором потребительная и меновая стоимости взаимоуничтожаются, а следовательно, ценность которого заключается в его бесполезности, а потребление — в неосязаемости, это уже не товар, поэтому превращение произведения ис-

Столкнувшись в наше время с вызовом в виде товара, искусство (произведение искусства) не ищет, не должно искать свое спасение в критическом отрицании (ведь тогда оно станет лишь смехотворным и бессильным зеркалом, так же как диалектическая мысль благодаря критическому отрицанию стала лишь смехотворным и бессильным зеркалом капитала), а в преувеличении формальной и фетишизированной абстракции товара, в феерии меновой стоимости, — становясь более товаром, чем товар, еще более далеким от потребительной стоимости.

Если форма товара разрушает прежнюю идеальность объекта (его красоту, аутентичность и даже функциональность), то не следует пытаться восстановить ее с помощью отрицания формальной сущности товара, напротив — в этом и заключается вся стратегия модерности, то, что составляет для Бодлера перверсивный и авантюрный соблазн

кусства в абсолютный товар также является и *наиболее радикальным упразднением товара*. Отсюда и та непринужденность, с которой Бодлер ставит «шок» в центр своего художественного творчества. «Шок» — это тот потенциал странности, которым заряжаются объекты когда, чтобы снова надеть загадочную маску товара, они теряют весомость [autorité], приданную им потребительной стоимостью... Бодлер понял, что для того, чтобы искусство сумело выжить в условиях индустриальной цивилизации, художник должен стремиться к воспроизведению в своем произведении этого уничтожения потребительной стоимости и традиционной понятности [intelligibilité]... Таким образом, отныне единственным способом самосохранения искусства становится его самоотрицание».

«К счастью, основатель модерной поэзии был фетишистом. Без его страсти к женским нарядам и женским прическам, к украшениям и макияжу Бодлер едва ли мог выйти победителем в его конфронтации с товаром».

модерного мира, — нужно доводить до абсолюта это разделение стоимости. Никакой диалектики потребительной и меновой стоимости, синтез — это мягкотелое решение, диалектика — ностальгическое. Единственное радикальное и современное решение: потенциализировать все, что есть новое, оригинальное, неожиданное, интересное [génial] в товаре, а именно формальную индифферентность к полезности и к ценности (стоимости), — преимущество, предоставленное неограниченной циркуляцией. Вот каково должно быть произведение искусства: оно должно приобрести все признаки шока, странности, неожиданности, тревожности, ликвидности, даже саморазрушения, мгновенности и ирреальности, то есть все признаки, присущие товару.

Экспонентализировать бесчеловечность меновой стоимости на индифферентных путях отчуждения, в своего рода экстатическом, но также ироническом наслаждении. Вот почему в феерично-иронической (а не диалектической) логике Бодлера произведение искусства абсолютно сближается с модой, рекламой, «феерией кода»: ослепительное произведение искусства продажности, подвижности, эффектов иреферентности, непредвиденности и умопомрачения — чистый объект изумительной взаимозаменяемости [commutabilité], поскольку причины исчезли, все следствия практически эквивалентны.

Нам хорошо известно, что они могут быть также нулевыми, но произведение искусства должно фетишизировать эту ничтожность, это исчезновение, и извлекать из этого экстраординарные

следствия [effets]. Новая форма соблазна — не овладение конвенциональными эффектами, не мастерство иллюзии и эстетической дисциплины, а скорее головокружение обсценности, — но кто может сказать, в чем разница? Обычный товар порождается миром производства — и Бог знает, меланхоличен ли он! — но, возведенный в степень абсолютного товара, уже он порождает эффекты соблазна.

Новый и торжествующий (а не печальный и отчужденный!) фетиш — предмет [objet] искусства — должен стараться деконструировать сам свою традиционную ауру, свой авторитет и силу иллюзии, чтобы засиять в ареоле чистой обсценности товара. Он должен исчезнуть как обычный объект и стать *чудовищно странным*. Но это уже не тревожная странность вытесненного или отчужденного объекта — этот объект уже не отличается [brille] навязчивой идеей или тайным лишением, он отличается настоящим соблазном, идущим извне, отличается преодолением своей собственной формы и обращением в чистый объект, чистое событие.

Эта перспектива, которая, согласно Бодлеру, началась со спектакля преображения товара на Всемирной выставке 1855 года, во многих отношениях превосходит перспективу Вальтера Беньямина. В своей работе *«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»* Беньямин делает из потери ауры и аутентичности объекта в эпоху репродукции отчаянно политический (то есть политически безнадежный) вывод и видит перспективу модерности печальной, в то

время как взгляд Бодлера гораздо более современный (насколько возможно быть действительно современным взгляду из девятнадцатого века) и заключается в исследовании новых форм соблазна, связанных с чистыми объектами, чистыми событиями и этой современной страстью, которой является фасцинация.

Бодлер оказал наилучшее сопротивление этой удручающей теории отчуждения (которая, впрочем, оказала свое пагубное влияние лишь на мягкотелое мышление XX века) — он понял, вероятно благодаря исторической новизне вторжения товара, каким должен быть единственно верный эстетический и метафизический, иронический и веселый ответ на этот вызов. И не надо зацикливаться на «эстетической» озабоченности Бодлера. Его идея абсолютного товара является радикальной перспективой во всех областях*.

---

* Кстати, Маркс также отталкивался от товара как незначительного факта и наивысшей странности модерного мира. Он исходил из то, что это нечто необъяснимое, но не для того, чтобы его правильно объяснить, а для того, чтобы обернуть его в загадку, которая разрушит догму. В иероглиф.

После Маркса над товаром парит что-то загадочное и фееричное, его тревожная странность, его вызов разумному порядку вещей, реальному, морали, пользе, всем ценностям (стоимостям) — все это происходит от товара, который сам стремился быть ценностью.

Именно эту его неоднозначную фасцинацию мы обнаруживаем во всех феноменах капитала, в феерии этого универсального кода, по крайней мере в его оригинальных аспектах.

Марксистская догма сокрушила все это (чему в значительной мере поспособствовал сам Маркс). Вся загадка капитала и товара была истреблена в революционной моральности — но в чем же заключается и что собой представляет революционная имморальность?

Похвала сексуальному обьекту

Соблазнителен лишь объект.

Заурядный соблазнитель в этом ничего не смыслит. Он хочет быть субъектом, а другого рассматривает как жертву своей стратегии. Наивная психология, такая же, как и у тех доброхотов, которые становятся на сторону жертвы. Ни те, ни другие не видят, что вся инициатива, вся сила находится на другой стороне, на стороне объекта.

Впрочем, банальность такого анализа соблазна оборачивается против самих аналитиков, соблазнитель, возможно, не настолько глуп (так же как и жертва); подсознательно он знает, что если бы соблазн сводился к этой убогой психологии, то *он никогда не функционировал бы*. Не соблазнен ли скорее сам соблазнитель и не идет (исходит?) ли тайно инициатива от объекта? Соблазнитель думает, что это он захватил объект своей стратегией, но на самом деле он сам попал в ловушку этой банальной стратегии, и именно объект захватил его своей фатальной стратегией.

То, что нас прельщает, так это то, что объект принимает форму предопределения. То, что его цена [surenchérit], как сказал бы Сартр, возрастает в чистой объектности, что, в свою очередь, освобождает вас от него, как абсолютный товар самым радикальным образом освобождает от товара.

Сартр[101]: «В соблазне я совсем не стремлюсь открыть в другом свою субъективность... Соблазнять — значит брать на себя полностью свою объектность для другого и подвергать ее риску; значит ставить себя под его взгляд, делать себя рассматри-

ваемым им и подвергать опасности рассматриваемое-бытие, чтобы осуществить новый уход и присвоить себе другого в моей объектности и через нее. Я отказываюсь покидать почву, на которой я испытываю свою объектность; именно на этой почве я хочу вступить в борьбу, делая себя очаровывающим объектом...»

Несоблазнительное лишь то, что больше не ставит себе проблему своего собственного желания (например, истерика, в которой желание — меньшая из забот), то, что уже прошло через отпущение [absolution] и разрешение [résolution] от своего собственного желания.

Как в том жестоком анекдоте о женщине, которой один мужчина написал страстное письмо, а она в ответ спросила: «Что во мне вас сильнее всего соблазнило?» — «Ваши глаза», — пишет мужчина — и в ответ получает посылку с тем глазом, который его соблазнил.

Красота и жестокость этого вызова против банальности соблазнителя. Но также и инфернальность этой женщины, которая мстит даже за робкую попытку быть соблазненной: ловушка за ловушку, глаз за глаз. Никогда возмездие не приобретало столь беспощадной формы, как в этом бесцеремонном приношении. Она потеряла глаз, но он теряет лицо — как теперь он «положит глаз» хоть на одну женщину, не опасаясь получить глаз в ответ? Потому что самое худшее — это выразить желание и увидеть его *буквальное* исполнение. Самое худшее — получить точно такое вознаграждение, которое желаешь. Тогда попадаешь в ловушку объекта, который предается тебе как буквальный объект.

Это та часть фатальной провокации, которая кроется в каждом объекте, всегда готовом начать жестокую игру соблазна. Поэтому мужчина не может не ответить на заманчивый вопрос женщины: «Что во мне вас сильнее всего соблазняет?» — и тем самым совершить непоправимую ошибку. Мстительная логика объекта здесь прежде всего. (Можно, конечно, спросить, что произошло, если бы он ответил: ваш голос, ваши губы, ваш пол, ваша душа, ваша походка или еще что-то, но этот вопрос, несомненно, не имеет смысла, потому что в куртуазном контексте единственно возможный ответ — глаза, как метафора души.)

Именно эту метафору и отвергает женщина, и это дает ей абсолютную привилегию. Как субъект, мужчина может играть лишь по правилам метафоры. А женщина, вырываясь изо всех метафор, становится фатальным объектом, который увлекает субъект к гибели.

Для этого достаточно смешения знака и тела, достаточно указателя на объект [raccourci], по сути сходного с шуткой Харпо Маркса[102], когда вместо пароля «эспадон» он предъявлял настоящий эспадон. Здесь острота более жестока, но женщина таким же образом отрицает пароль «ваши глаза» и как следствие всю идеализированную риторику соблазна. Ведь мужчина говорит о ее глазах и ее взгляде как о ней самой, и она свободно может ответить на это даром в виде себя самой, а не глаза как чистого и простого объекта. Это жестокое и натуралистическое короткое замыкание недалеко от того, что может в иных местах выражаться в каннибальском поедании обожаемого объекта, — здесь

это экстраверсия себя как чистого объекта, который выступает в качестве жестокого вознаграждения. Стратегия-объект той женщины заключается в том, чтобы запретить метафорическое смещение дискурса — от глаза к взгляду, от взгляда к существу, — в котором только и может существовать, и позволять себя соблазнять субъект.

Это устранение метафоры, это осаждение знака в виде грубого и лишенного содержания вещества отмечается смертоносной эффективностью. Она принадлежит к тому же порядку, что и бессмысленное событие, катастрофа, которая является таким же слепым [безглазым] и неметафорическим ответом мира-объекта человеку-субъекту. Таким образом всегда проявляется судьба: в определенный момент и в определенном месте знаки становятся объектами — неметафоризабельными, жестокими, безапелляционными. Они прерывают всякую дешифровку, они смешиваются с вещами (вот почему судьба мечтательна, ведь она является той же невнятной внезапностью, как и знаки или слова во снах).

Стратегия объекта, как в данном случае и стратегия женщины, заключается в смешении с желаемой вещью. В такой форме *чрезмерно объективного* ответа кроется вся ирония и жестокость: она оставляет субъект без надежды.

Прекрасным примером является и возможность для женщины играть на двух уровнях: на уровне предложения и прямого сексуального спроса (она может безусловно ответить на запрос, так же как поступила со своим глазом, и мужчина в собственных глазах окажется нагим и обсценным, обнаженный и униженный в наслаждении своим объек-

том) или же на уровне игры, приманки, метафоры, отсроченной сексуальности. У мужчины нет такой возможности. Женщина остается свободна в выборе территории. Мужчина всегда подвергается опасности потерять лицо: если он сразу рискнет сделать сексуальное предложение, то всегда получит отказ; если же прибегнет к более тонкой игре, то станет жертвой более утонченного отказа. Наоборот не бывает. Ведь женщина находится не на позиции желания, а на позиции гораздо выше — объекта желания.

Естественно, что она теряет эту прерогативу, если оставит безразличную нейтральность объекта относительно желания. Тогда она становится столь же уязвимой, как любой субъект, и испытывает все формы этого напрасного страдания.

Передача сексуальной инициативы женщине создала новую ситуацию. Мужская прерогатива в эпоху «женщины-объекта», по крайней мере, привела к созданию целой культуры страсти и соблазна, романтической культуры, связанной с игрой сексуального запрета. Такая культура почти не мыслима в обратном смысле. Невозможно представить, что мужчина принял бы на себя всю ту стыдливость и таинственность, провоцирование и отступление, всю утонченную и подсознательную стратегию объекта, которая и служила основой вечной женственности. Вечного мужества не существует, потому что не существует запрета, который ограждал бы мужчину от сексуального желания женщины. Женщину, если она этого хочет, теперь не нужно соблазнять. А мужчине, если этого хочет женщина, по-прежнему нужно соблазнять.

И если обязательное требование женственности-объекта прекратилось для женщины, то обязательное требование мужественности не прекратилось для мужчины. Поэтому он, чтобы не потерять лицо, вынужден отвечать на сексуальное желание женщины — она в такой ситуации никогда не оказывалась, так как у нее всегда была возможность уклониться в соблазне и, в частности, в отказе, где она не рисковала потерять лицо, скорее наоборот.

Возможно, в этом и заключается смысл фильма *«Город женщин»* Феллини[103]: мужчина становится беззащитен, гол и растерян перед чудовищно раздутой женственностью, эрратическими фантазмами всевозможных феминитюдов[104] без тени соблазна.

Следовательно, ситуация уже не дуальная, она стала односторонней. Женщина-объект была сувереном и осталась госпожой соблазна (правил тайной игры желания). Мужчина-объект — это лишь голый субъект, обобранный донага сирота желания, мечтающий о потерянном господстве — ни субъект, ни собственно объект желания, а лишь мифический инструмент жестокой свободы.

О любом объекте в его спокойствии и афазии можно сказать то, что Канетти сказал о животных: «Если внимательно присмотреться к животному, то возникает ощущение, будто в нем скрывается человек и дурит вам голову».

О женщинах тоже можно сказать, что в них скрывается кто-то другой и смеется над вами. Женщина так мастерски, с такой легкостью может быть покорной, так заметно, слишком заметно может быть несчастной, что *нужно*, чтобы что-то скрывалось в ней

и подстерегало нас. Та же объективная ирония, которая подстерегает любую субъективность, чтобы победить ее.

Что-то в женщине игнорирует обладание. Что-то в объекте игнорирует обладание. Обладание является озабоченностью и гордостью субъекта, но не объекта, которому до этого нет дела, так же, как и до своего освобождения. Объект хочет лишь соблазнять — таким образом он разыгрывает свое невольничество [servitude], как животные разыгрывают свое безмолвие, как камни разыгрывают свое безразличие, как женщины играют своим взглядом, и он всегда выигрывает.

К чему гордиться различием, когда безразличие уверенно берет верх? Что толку в смысле, когда молчание торжествует? Сила объекта — в его иронии. Различие всегда серьезно, а безразличие иронично.

Так, женщина может требовать, чтобы ее признали в качестве полноправного субъекта (что, впрочем, является новым способом соблазна, и игра в эмансипацию субъекта не лишена шарма, когда приносит объективное удовольствие и той и другой стороне), и мужчина охотно позволяет поймать себя в эту ловушку, потому что он также любит соглашаться на некоторые жертвы. Но если он дал себя поймать, то он проиграл, потому что он становится смешным в глазах женщины, которая следит за ним из глубин своей объективной иронии (той тайной иронии, которая опровергает все ее претензии на роль освобожденной женщины). Таким же смешным был бы он и в глазах животного, которого захотел бы признать в качестве полно-

правного субъекта. Вот в чем и ловушка, вот когда она и захлопывается.

Все ощущают нелепость претензии кого бы то ни было на роль «полноправного» субъекта! И поэтому, когда женщина это требует («Не хочу, чтобы меня соблазняли, хочу, чтобы меня признавали»), то это ловушка, в которую легко попадает мужчина, потому что приятно выступать в качестве той инстанции, которая признает. Проще говоря, это требование иронично, но он об этом не ведает.

Женщина, да и все мы как объекты (а мы все настолько же объекты, насколько субъекты, но объекты, вероятно, более оригинальные — не пассивные, а страстные [passionnés], побуждаемые импульсами, идущими из глубины бытия-объекта), не хочет, чтобы ею грезили и восторгались как полноправным субъектом, ей хочется, чтобы ее коренным образом принимали за объект, как он есть, в его бессмысленности, имморальности, сверхчувственности, а именно за объект, доступный всему и всем, добычу и хищника в одном лице; а именно как потенциальный объект обладания, проституирования, порабощения, манипулирования, маркированный как таковой, но благодаря всему этому совершенно соблазнительный и неотчуждаемый. Как только мы признаем все эти фундаментальные характеристики (эту свободу) сексуального объекта, женщина готова ко всем играм любви и психологии, но не как субъект, а как чистый объект, который будет соблазнять вас и который будете соблазнять вы. Ею можно обладать, повелевать, пользоваться, соблазняться — и в этом нет ни отчуждения, ни зависимости, ни мазохизма (ошибка

в том, что объект всегда понижается до уровня порочной и перверсивной психологии субъекта). Напротив, ее сила в торжествующем безразличии, в торжествующем отсутствии субъективности. Она остается хозяйкой игры, объект остается властелином игры и лишь укрепляет свой иронический суверенитет.

Вы обижаете ее, обращая слишком много внимания на игру стыдливости и хитроумия, как обижаете и ребенка, обращая слишком много внимания на его возраст или его слабость. Ребенок отлично *знает, что он не ребенок.* И ему нет никакого дела до распределения свободы и ответственности, которыми вы хотите возвысить его, а скорее возвысить *педагогическое* различие между взрослым и ребенком. И ребенок борется против этого тем же оружием. Он ни несвободен, ни слаб, но позволяет другим верить в это. Он захватывает вас своим бесстыдством, для которого как раз годится любое оружие. Он может выбрать игру в различие, разыгрывать слабого по сравнению со взрослым ребенка, и тогда вы будете должны покровительствовать ему, придавать ему вес, уменьшать различие. Или же в любой момент он может отослать вас к отсутствию реального и фундаментального различия (детства не существует, никакого ребенка нет). Он будет прав в обоих случаях. Это дает ему *абсолютное преимущество.*

Точно так же и женщина может всегда отказаться от себя как сексуального объекта и отдаться без стеснения (что всегда ужасно удивляет мужчину) или же вести игру в то, чтобы быть признанным в качестве субъекта, снова и снова уступать

соблазну и не уступать и т.д. Она всегда может отказаться от одной роли ради другой, и не потому что истеричная, капризная или бог еще знает что: *это не психология*, это стратегия — то, что также дает ей абсолютное преимущество перед мужчиной.

Каждый наслаждается сам по себе. Сама возможность сексуальности основывается на том, что один не знает, как наслаждается другой (и даже наслаждается ли он вообще). Это, можно сказать, жизненно важное [vital] недопонимание. Это — биологическая форма тайны. Есть и другие таинственные очевидности, но эта загадка яркой звездой сияет на небосклоне сексуальности: наслаждение другого скрыто от нас. Следовательно, обладания не существует, поскольку мы обладали бы другим, только если бы нам было знакомо его наслаждение.

И слава богу, что это так, потому что из-за этого женщина, например, может вечно соблазнять нас этим неведомым наслаждением, которое таким образом становится неизмеримым наслаждением.

Изумительный миф о Тиресии! Среди двух совокупляющихся змей он сумел различить самца и самку. За это он станет женщиной, а потом снова мужчиной. И впоследствии он скажет, что женщина испытывает наслаждение в девять раз более сильное, чем мужчина. За эту нетактичность он будет ослеплен богиней Герой, но получит дар ясновидения.

Нужно ли раскрывать тайну наслаждения? Кому еще дано сменять один пол на другой не путем хирургической операции, а согласно метаморфозе

наслаждения? И кто сможет еще раз об этом рассказать?

Хорошо, что существует эта абсолютная сингулярность, мифическое наслаждение другого, на чем основывается половое различие. Именно в этом и заключается его загадка, и за решение этой загадки, за то, что перешел на другую сторону пола, Тиресий и был обречен на слепоту, как тот же Эдип, а мог бы превратиться в гермафродитное растение. Не за то, что раскрыл тайну (?) женского наслаждения, ведь ее не существует: приумножение женского наслаждения в девять раз есть лишь ироническое приумножение мужского желания. Это свидетельствует о том, что женщина является лишь ироническим экстазом мужского желания.

Кого бы это встревожило? Единственное, что может тревожить, это все то, что отдаляет нас от этого загадочного различия и приближает к обмену [partage] наслаждением, а следовательно, к безразличию. В этом и заключается контрсмысл сексуального освобождения.

Но, в конечном счете, наибольшая сингулярность проистекает не из наслаждения, а из того экстраординарного отношения, которым является соблазн. Лишь он подводит к этой странной ситуации: сотворить из противоположного пола судьбу, сделать из него не финальный объект (наслаждения), а фатальный объект (смерти и метаморфозы). Потому что соблазн играет на чем-то другом, несравнимом с анатомическим (или психологическим) различием, потому что он подталкивает игру различия к форме вызова и абсолютного притяже-

ния, к головокружению, когда уже не важно знать, кто получает удовольствие в девять раз более сильное, чем другой, потому что это — головокружительное увеличение ставок, а не учет, потому что ставка в этой игре сделана на наивысшую условность [convention], которая может и не иметь конца, а не на исчисление удовольствия, которое обязательно где-то остановиться — лишь соблазн кладет конец преимуществу одного пола над другим.

В любви многие мечтают оказаться на месте женщины. Не обладание является глубинным фантазмом любви на физическом и психологическом уровне, но метаморфоза, половое преображение. На пике любви нас неотступно преследует загадка противоположного пола. Все совокупления стремятся лишь к этому: прикоснуться к другому полу как к иной судьбе, интегрировать его посредством проницательности. Неразрешимая мечта, которая исчерпывается в мечте обладать всеми женщинами непрерывно.

А как насчет женщин? Очевидно, они не мечтают оказаться на месте мужчины. У них нет такой слабости. Их не съедает интерес к другому полу, скорее они растворяются в своем, в излиянии чувств или истерии, в отношении к телу, которое не представляет для них самих тайну, а представляет привязанность [affection] и тщательную заботу [attention]. Макияж, самолюбование, соблазн, демонстративная истерика — сакральные формы вожделения, изменчивая и сакральная форма чистого события, которое в любой момент женщина создает для самой себя. С помощью всех этих хлопот она непрерывно

метаморфизируется сама в себя. Что еще остается мужчине, кроме как искать в женщине эту силу метаморфозы?

Сам он прикован к половому различению. Вся драма различия — на стороне мужчины, весь шарм различия — на стороне женщины. Никакое умаление, никакое угнетение женщины никогда не упразднят эту в высшей степени неравную судьбу, которая всегда будет склонять баланс мечты, наваждения, загадки, стратагемы в сторону пола, который предпочитает сам себя, и, таким образом, обозначает восхитительно пустое место, место наслаждения, куда погружается другой.

Миф о Тиресии говорит о том, о чем мы мечтаем больше всего не о сексе, а об обратимости полов, о способности *видеть обе стороны пола*, как ясновидец или пророк (Тиресий) способен видеть *обе стороны времени*. Мы мечтаем о состоянии ясновидения, которое является контролем над обратимостью времени, так же как мечтаем о состоянии наслаждения, которое стало бы контролем над обратимостью полов.

Наивысшее наслаждение — это наслаждение метаморфозой.

Тайная неотвратимость[105]

Странная гордыня толкает нас не только на то, чтобы обладать другим, но и на то, чтобы раскрыть его тайну, не только быть для него чем-то дорогим, но быть для него фатальным. Наслаждение серого кардинала: искусство устранения другого. Это требует целого церемониала.

Сначала вы следуете по улице за людьми наугад, час или два, за всеми по очереди, быстро и неорганизованно, — вас побуждает к этому мысль о том, что жизнь людей — это случайный маршрут, который не имеет смысла, который никуда не ведет и который именно по этой причине завораживает.

Вы двигаетесь переплетением путей других, чтобы отлучиться от самого себя. Вы существуете, лишь идя по их следам, но без их ведома, на самом же деле вы следуете своей собственной дорогой, сами того не зная. Вы совершаете этот путь вовсе не для того, чтобы открыть что-то в другом или узнать, куда он идет, это также не «дрейф» в поисках случайного маршрута: все то, что принадлежит различным современным идеологиям, не особо соблазнительно. В то время как эта затея [entreprise] полностью принадлежит соблазну.

Вас соблазняет быть лишь зеркалом другого, который об этом не знает, совсем как зеркало у Кьеркегора[106]: На боковой стене висит зеркало; девушка о нем не думает, но оно-то о ней думает.

Вас соблазняет быть судьбой другого, его двойником на этом пути, имеющем для него какой-то смысл, но когда он оказывается не один — этот смысл исчезает. *Это происходит так, как если бы кто-то, идущий за ним, знает, что он никуда не идет*. В каком-то смысле это означает лишить его цели: злой дух незаметно проскальзывает между ним и ей. Это ощущение столь сильно, что люди часто чувствуют, что за ними идут следом; какая-то интуиция подсказывает им, что в их пространство проникло нечто и изменило его кривизну.

Однажды мадам С.[107] решает придать этому «опыту» [expérience] другой размах. Она узнает, что человек, за которым она когда-то случайно следовала и которого она едва знает, отправляется в путешествие в Венецию. Она решает следовать за ним на протяжении всей его поездки. Прибыв в Венецию, она обходит с сотню отелей и наконец узнает, где он остановился. Она снимает комнату прямо напротив отеля, чтобы наблюдать за передвижениями этого человека. У нее есть бинокль и фотоаппарат, поэтому она при каждой возможности фотографирует его, те места, где он бывал, и предметы, к которым он прикасался. Она ничего от него не ждет. Она не хочет узнать его поближе. Он не особо ей нравится. Как раз время Венецианского карнавала. Поскольку он может узнать ее (однажды они разговаривали), из брюнетки она перекрашивается в блондинку. Она делает макияж и переодевается. Но веселье Карнавала ее не волнует, все подчинено слежке. На протяжении двух недель ценой неимоверных усилий ей удается идти по его следу. Расспрашивая людей в магазинах, где он бывает, она узнает о его планах, даже о местах в театре, которые он забронировал.

Она знает даже точное время его возвращения в Париж и, сев в предыдущий поезд, собирается ждать его там, чтобы, когда он выйдет на перрон, сделать последний снимок.

Нет, не последний. Она не сойдет с его следа и завяжет контакты с людьми, которые с ним работают, с писателем, с которым он должен сотрудничать как фотограф. Но все вдруг резко меняется. Дважды или трижды он заметил, что за ним следят,

в Венеции случился досадный инцидент, а в Париже вышло еще хуже: он разозлился, шарм пропал, — и она прекратила слежку.

Хотела ли она, по сути, чтобы он убил ее, чтобы, сочтя эту слежку невыносимой (в особенности потому, что она не рассчитывала ни на что, и меньше всего на сексуальную интригу), набросился на нее и совершил над ней насилие, или же, обернувшись к ней, словно Орфей к Эвридике при возвращении из Аида, заставил бы ее внезапно исчезнуть? Хотела ли она просто быть его судьбой или она стремилась, чтобы он стал ее судьбой? В этой игре, как и в любой другой, было свое фундаментальное правило: не должно было произойти ничего такого, что привело бы к контакту или связи между ними. Соблазн возможен лишь такой ценой. Тайна не должна быть раскрыта, в противном случае все превратится в банальную любовную историю.

Конечно, есть что-то смертельно опасное для того, за кем следуют. Он может настолько забеспокоиться, что впадет в манию преследования. Но это не было целью мадам С. (даже если этот фантазм и мог иногда пробуждаться, но она также рисковала: другой мог полностью изменить ситуацию и, поняв стратагему, увлечь за собой того, кто за ним следит, — он не жертва, он так же силен, как она).

Нет, здесь намного более хитрое убийство: оно заключается в том, чтобы, следуя за другим постепенно, шаг за шагом стирать его следы.

Ведь никто не может жить без своих следов. Раньше или позже это понимает каждый, кого пре-

следуют. Он не может не чувствовать, что его окружает какое-то колдовство, даже если внешне для этого нет никаких признаков. Серый кардинал или блондинка, которая следует за ним, не оставляет за собой следов, зато крадет его следы. Она непрерывно фотографирует его. Но фотография здесь не имеет перверсивного или архивного значения. Она просто показывает, что в таком-то часу, в таком-то месте, при таком-то освещении был такой-то. И одновременно: не было никакого смысла в его пребывании в данном месте в данный момент; и там на самом деле не было никого, я следовала за ним и могу гарантировать вам, что там никого не было. Это не памятные снимки присутствия, а снимки отсутствия — и того, за кем следят, и того, кто следит, — снимки их отсутствия друг для друга.

«Следуйте за мной, — говорил ей другой, к которому она обращалась своим недолгим слежением, — интереснее следовать за мной, чем хлопотать по хозяйству». Но это контрсмысл и перепутывание интереса с высшей степенью соблазна. Неинтересно узнать, например, что кто-то ведет двойную жизнь, разве что ради аромата любопытства, — важно то, что *слежка сама по себе составляет двойную жизнь другого*. Благодаря этому, любое сколь угодно банальное существование может оказаться преображенным [transfigurée], а любая сколь угодно исключительная жизнь — банализированной. Опять же речь идет не о преследовании, а о соблазне.

Князь Палагонии задумал воспользоваться фатальным эффектом кривых зеркал.

Этот жутко уродливый испанский дворянин построил в окрестностях Палермо виллу по своему образу и подобию, расставил повсюду статуи ужасных карликов, а стены обвесил кривыми зеркалами — и все для того, чтобы самая красивая девушка Сицилии, на которой он женился, могла видеть лишь свои отталкивающее отражения и таким образом смириться и полюбить его благодаря общему сходству.

Или же он укреплял свою власть в сотворении мира похотливых форм (уродство похотливо), где красота воспринимается как вызов или как уязвимость, потому что, в сущности, совершенство невыносимо?

Быть может, в этом заключается тайна всякого соблазна: он протягивает красоте кривое зеркало, где она наконец освобождается от своего совершенства. Если взять шире, то соблазн протягивает чудное зеркало другому, где он наконец освобождается от своей сущности, своей свободы, своего образа, своего подобия, от всего, что обременяет его, в тайне от него самого. Даже Бога соблазняет Дьявол.

Существует ли тайна виллы Палагония? Нет, красота стремится к худшему, чем она, она хочет быть заключенной, оскверненной, истязаемой (под сводом часовни болтается подвешенный за лопатки Христос, будто чучело какой-то нелепой птицы), и первый, кто захочет это сделать, соблазнит ее своим уродством.

Но не первый встречный. У князя Палагонии была благородная душа.

За молодой красивой девушкой А. ухаживает принц. Он не может с ней встречаться, поэтому каж-

дый день пишет ей письма. Девушка об этом ничего не знает, потому что письма приходят ее матери, которая достоверно отвечает вместо нее и таким образом ведет с принцем любовную переписку. А. узнает об этом только после смерти матери, когда находит в ее бумагах эти письма. *И при этом не проникается к ней ненавистью.* Напротив, этот обман восхищает ее посмертно.

Дело в том, что А. владеет только непосредственным очарованием соблазна и не владеет тайной привлечения принца. А фатальной силой, которая содержит в себе тайну, символической (эстетической, как сказал бы Кьеркегор) силой соблазна, настоящей соблазнительницей является ее мать.

Она то, что отражает, перехватывает и источает соблазн своей дочери *без ее ведома*. Неведение имеет важное значение, это фундаментальное правило. Только другой знает, что вы лучше всех, только другой знает, что вы любимы, только другой знает, что вы никуда не идете, только другой знает, что ваша жизнь не имеет смысла. В определенном смысле он вас удваивает, он похищает ваше право [raison] на существование, а следовательно, благодаря этому присвоению вынуждает вас существовать намного интенсивнее, чем если бы он вас породил.

Красивая история — благодаря тем оттенкам инцеста, которые в ней ощущаются. Но именно поэтому ее и следует отмежевать от всяких эдипальных глупостей, которые связаны с инцестом. Соблазнять того, кого ты породил в банальном толковании, в высшей степени преступление. Но в более глубинном порядке вещей инцест естествен и не-

обходим. Нужно соблазнить то, что было произведено и порождено. Возможно, наоборот: порождать и быть порожденным — это и есть в высшей степени преступление, и оно должно быть разрешено, компенсировано, искуплено, через инициацию, то есть соблазняя и соблазняясь. И этот соблазн всегда в той или иной степени инцестуальный, ведь так же, как инцест, он является эзотерической формой, которая заключается в том, чтобы посвятить вас в тайну, а не только лишь дать вам жизнь; в том, чтобы дать вам судьбу, а не только лишь существование.

Таким образом, мать в некотором смысле искупает с помощью этого тайного посредничества то, что она произвела на свет свою дочь. И именно поэтому эта история так очаровывает — как той тайной судьбой, которая дала ей мать, так и той двойной жизнью, которую она дала ей сверх того.

Инцест не основан ни на желании, ни на его запрете, ни на естественном или противоестественном побуждении, в нем нет ничего либидинального, но он не основан и на законе или символическом порядке. Он лишь выражает фундаментальное правило, которое предусматривает, что *все то, что было произведено, должно быть соблазнено* (инициировано к исчезновению после того, как оно инициировалось к существованию). И мы применяем это правило во всех возможных формах. Мы призваны в любой момент соблазнять (то есть завлекать, приносить в жертву и уничтожать, совращать и *восхищать*) то, что закон обязывает нас производить. Закон обязывает нас производить, но тайное правило, которое никогда не произносится и кроется позади

закона, обязывает нас соблазнять, и это правило сильнее чем закон.

Судьба прорисовывается лишь в этом загадочном случае [conjoncture]: моя тайна — за пределами меня. Ничто не содержит в себе собственную тайну — в этом-то и ошибка всякой психологии, в том числе и психологии бессознательного. Все, что происходит за пределами меня (как в мечтах, так и в речи, как в событии, так и в катастрофе), все это составляет для меня фатальный объект — даже если он не ведет к смерти, то предполагает экспроприацию субъекта, вовлекает его в тайну, ведет за пределы его конца [fin], вопреки ему за пределы его, в каком-то экстазе.

Загадка вот в чем: как можно иметь тайну, не зная об этом? А вот в чем ее загадочное решение: только другой это знает, только Бог это знает, только судьба это знает, тайна — это то, что окутывает вас без вашего ведома.

Так и в истории А.: у нее есть тайна, тайная судьба, но она не знает об этом. Нет угрозы, что она предаст эту тайну: только мать знает об этом.

В некоторых случаях только язык это знает. Только в языке соединяются ироническое и фатальное.

Так и в новелле Альфонса Алле[108] *«Вполне парижская драма»*. Двое влюбленных получают каждый по анонимному письму, где одного извещают об измене другого. Если женщина хочет убедиться в этом, ей надо лишь пойти на бал-маскарад — ее возлюбленный будет там под маской Арлекина[109]. А мужчина получает такой же тайный совет: идите на такой-то бал-маскарад, ваша возлюбленная бу-

дет там переодета Конголезской пирогой. В тот вечер в разгар маскарада скучали в своем углу лишь двое — Арлекин и Конголезская пирога. В конечном счете он подходит к ней и приглашает отужинать вместе. Заканчивается все это в отдельном кабинете, где оба устремляются друг к другу и срывают маски. И — верх изумления, говорится в той истории: ЭТО БЫЛИ НИ ТОТ, НИ ДРУГАЯ!

Весь алогичный шарм этой истории вот в чем: оба устремляются срывать маски, а за ними ничего нет. Словно обе маски (Арлекин и Конголезская пирога) действовали сами по себе, сочетались друг с другом в соответствии с чистой инерцией языка, рассказа, тогда как у них не было никаких причин это сделать. (Иначе каким чудом, по какому стечению обстоятельств они там оказались и где же в это время находились те двое, настоящие герои этой истории?) Реальное здесь вне игры, функционируют лишь кажимости, которые сочетаются согласно собственной логике, там, где логика должна была навсегда отделить их: такова игра чистой кажимости.

Это именно функционирование остроты. Ведь именно в Witz[110] [шутка] слово становится *указательной чертой* — уже не носителем знака, а чистым вектором кажимости. *Неизвестные ни тому, ни другому языковые фрагменты, безо всякой причинно-следственной связи соединяются между собой как по волшебству и с восторгом обнаруживают, что они «ни тот, ни другой»*. Слова срывают друг с друга маски и не узнают друг друга.

Конечно, все это объясняется способностью языка продолжать импульс реального (действо-

вать таким образом, будто он что-то репрезентирует) и сталкиваться с чистой кажимостью, то есть продолжать функционировать за пределами своего конца. Это и позволяет Алле вставить в конце короткую фразу: «... и это были ни тот, ни другая»! — что стало возможным как логическое высказывание благодаря безумному и фантастическому функционированию лишь самого языка, недоступному разуму. Итак, вся умопомрачительность базируется на этой простой короткой фразе. Рассказ может продолжаться и без нее: влюбленные узнали друг друга, обнялись и помирились — это была бы пикантная и поучительная история, в духе сентиментальности, модной в XVIII веке (наподобие новеллы де Сада, где трансвестит соблазняет женщину, которую он также считает трансвеститом, и они оба гомосексуалисты, — а когда оказывается, что женщина действительно женщина, следует страшное разочарование, однако в конечном итоге между ними все улаживается). Можно допустить также, что один из этих двоих был действительно тем, а другая — нет: это была бы галантная история. *Но это уже не было бы соблазнительной историей*.

Наиболее сильное у Алле заключение: «С тех пор они уже никогда не устраивали семейных сцен» — оно дает понять, что этот чистый эффект рассказа и кажимостей все же имеет последствие в реальном, позволяя таким образом допустить между строк головокружительную гипотезу о том, что «это были все-таки они» (иначе такого следствия не может быть). Впрочем, кто может сказать, что «это были ни тот, ни другая», если при этом не

было никого, чтобы это признать? Они (оба реальных персонажа) даже не знают, что их при этом не было, *но язык это знает, только ему дано это знать*. Совсем как зеркало у Кьеркегора: «На боковой стене висит зеркало; девушка о нем не думает, но оно-то о ней думает».

Поэтому для соблазнения также нужно, чтобы знаки или слова функционировали без их ведома, как в Witz, нужно чтобы вещи отсутствовали в самих себе, чтобы слова не хотели ничего сказать, но не зная об этом (только язык это знает), как в той слежке, которую осуществляла С., где лишь тот, кто следит, знает, что другой никуда не идет, или, наоборот, как в Смерти в Самарканде[111], где беглец думает, что он убегает куда глаза глядят, но Смерть знает, куда он направляется, и ожидает его там.

В этом смысле, благодаря неожиданному повороту, вполне возможно, что заключение Алле не столь абсурдное, каким кажется (что влюбленные больше никогда не устраивали семейных сцен!). Нужно допустить в порядке событий то, что легко можно проверить в порядке языка: когда два слова, два знака соблазняют друг друга без их ведома в процессе речи (Witz), то этот неслыханный соблазн оказывает поразительное влияние на всю фразу и на эффект коммуникации. Поэтому ничто не препятствует тому, что соблазнительная конъюнкция только их масок и весь этот неведомый им эпизод мог иметь поразительное влияние и на реальных влюбленных: где-то они все же встретились и снова соблазнили друг друга. Каким-то образом то, что происходит на уровне чистой кажимости рас-

сказа, все же оказывает влияние на реальное. Больше не надо об этом упрашивать язык. Некогда магия требовала от него этого, и она это получила.

Для того, чтобы эта история была соблазнительной, недостаточно чтобы она была алогичной и невероятной, нужно еще, чтобы она сигнализировала об этом непонятным образом. Так история Алле неразрешима не только в логическом плане, но и в плане случайности и вероятности (нет никакого шанса, чтобы такое событие могло произойти даже случайно). В ней нет внутренней связи, нет никакого решения, необходима лишь ироническая и неожиданная связь самого языка. В результате чего неразрешимость становится поразительной, вместо того чтобы быть банальной, потому что она — действие чистого знака. В этом-то и заключается все обаяние [prestige] иллюзии.

Такой же эффект имеют и те короткие фразы, которые приходят извне. По мнению Канетти: «Мы никогда не забываем этих фраз. Вероятно, они забирают у нас невинность, которая могла быть привлекательной. Но через эти жестокие разрывы человек приобщается к собственной природе. Без них он никогда не мог бы увидеть себя целиком. Они должны внезапно вмешиваться и приходить извне. Любая фраза, которая приходит извне, эффективна, потому что неожиданна: у нас нет для нее противовеса. Мы поддерживаем ее с той же силой, с которой противостояли бы ей при других обстоятельствах».

Эти короткие фразы — противоположность тем банальным фразам, где мы узнаем себя, фразы, от которых нам стыдно, фразы, от которых субъекту

вдруг становится стыдно быть таким как он есть. Эти короткие фатальные фразы словно вторжение чистого неопознанного объекта, который делает и субъект неопознанным для него самого. Ничто в субъекте не может стать противовесом для эффективности этих фраз, потому что они уже не служат ему зеркалом и он уже не может применять к ним, как к другим, свою льстивую активность. И как следствие, вся энергия, которую он по обыкновению обратил бы против них, теперь передается им и вливается в них. Вторжение чистого объекта инвертирует все отношения: объект приобретает всю силу субъекта. Вся наша энергия захватывается и мгновенно инвертируется этим объектом, пришедшим извне. Мы охотно принимаем это, мы и сами захвачены этим «жестоким разрывом» в порядке вещей, этой неожиданной революцией, этим полным разворотом энергии и этой инверсией силовых полюсов.

Кристалл мстит

Психоанализ поставил на главное место один аспект нашей жизни и скрыл от нас другой. Он переоценил одно из наших рождений, биологическое и половое [génital], но предал забвению другое, инициационное рождение. Он забыл, что наряду с двумя существами, которые определяют наше биологическое рождение, всегда имеют место и другие, те, которые нас соблазняют (они могут быть и теми же самыми), и в определенном смысле они — наши инициационные родители. Это второе рождение искупает первое, вместе со всеми

эдипальными конфликтами, которые столь хорошо описаны психоанализом, но касаются лишь первого рождения.

Это первое рождение навязывает нам сугубо эдипальную историю. Историю вытеснения и работы бессознательного, психологическую историю комплексов и скорби, оскорбительных и калечащих отношений с Отцом, Законом, символическим порядком. То, чего не увидел психоанализ, состоит в том, что с нами, к счастью, всегда происходит нечто другое — событие *без прецедента*, которое начинает вовсе не историю, а судьбу, и поскольку оно без прецедента, оно освобождает нас от этого генезиса и от этой истории. Это событие без прецедента — соблазн, он также без первопричины, он приходит извне и всегда внезапно, это чистое событие, стирающее одним махом как сознательный, так и бессознательный детерминизм.

Все мы однажды были произведены на свет, все мы должны быть соблазнены. В этом и заключается то единственное и истинное «освобождение», то, которое начинается по ту сторону Эдипа и Закона, и которое избавляет нас как от жесткой психологической голгофы, так и от биологической фатальности полового порождения.

Лишь пациенты [психоаналитика] страдают без соблазна. Те, с которыми не произошло этого события без прецедента, кто не испытал этого второго инициационного рождения, вследствие чего наглухо заперты в своей эдипальной истории и обречены на психоанализ. Он осуществляется на основе экономики желания, то есть отказа от соблазна, который психоанализ всячески старался скрыть.

Ведь из психоанализа (и не только из него, конечно) проистекает та немыслимая галлюцинация индивида о своем собственном желании. Именно психоанализ, как показала Моник Шнейдер[112] в книге *«Зигмунд Фрейд и удовольствие»*, в результате «психологической революции» XX века преуспел в этой безумной субституции. Индивидуальной психической экономикой, либидо, чистым желанием и всеми эдипальными перипетиями этого желания он заменил событие, которое приходит извне, соблазнительный, инициационный инцидент, фатальный для другого как событие без прецедента, как неожиданность, как совпадение мира и знаков, — событие, которые делает из вас вовсе не субъект, а объект выбора и соблазна. То, что побуждает вас к существованию — это не сила вашего желания (все энергетическое и экономическое воображаемое XX века), это игра мира и соблазна, это страсть играть и быть в игре, это страсть иллюзии и кажимости, это то, что приходит извне, от других, от их лица, с их языка, из их жестов, то, что тревожит вас, завлекает вас, заставляет вас существовать, это встреча, неожиданность того, что существует вне вас, до вас, *без вас*, — изумительная экстерналия чистого объекта, чистого события, — того, что происходит без вашего участия и безо всякой причины. Какое облегчение — этого одного достаточно, чтобы соблазниться, ведь нас так настойчиво побуждали быть причиной всего, находить причину во всем. Объект-кристалл, событие-солнцестояние, чувственный объект, пустая форма — все это соблазняет вас, потому что оно не имеет ничего общего с вашей экономикой желания и потому что суще-

ство, в принципе, не обязано существовать лишь в его собственном бытии, и оно существует лишь, будучи порожденным вне себя — в игре мира и головокружении соблазна.

Именно против этого всего и восстает психоанализ, выдвигая гипотезу о внешнем мире как агрессии, об «эго» как системе защиты и инвестирования, об удовольствии как разрешении напряженности. Вся задача Фрейда состояла в том, чтобы сокрушить это неконтролируемое событие соблазна.

Парадоксально положение анализа, когда он ссылается на материал сновидений, ведь как раз в этой фатальной перспективе сон и является событием, тогда как для психоанализа он является лишь симптомом, и тот же самый подход применяется к неврозам, безумию и оговоркам: везде психоанализ оставляет в стороне их силу вторжения, иллюзии и соблазна, он оставляет в стороне даже сам факт их существования, чтобы сделать из них лишь симптомы, отказывая во всякой суверенности вторжению вещей, магии кажимостей и вызову, который они предполагают, для того, чтобы сделать это лишь предметом интерпретации. Против всего этого психоанализ выдвигает свой субъект желания, своего Робинзона бессознательного, захваченного островной экономикой и изгнанием всякой внешней агрессии, — рассматривать внешний мир лишь как источник нестабильности, а само внутреннее побуждение как угрозу разлада — является симптоматическим: единственная судьба субъекта будет заключаться в том, чтобы избавляться от всех своих напряженностей, очищаться от внутренних

побуждений, нейтрализовать вторжение демонических сил, которые постоянно угрожают дезинтеграцией психической крепости, — это уже даже не судьба побуждений [pulsions], а судьба изгнания [expulsion]. Словно Одиссей, невосприимчивый к любым чарам внешних форм, субъект будет должен стремиться лишь к одному — освобождению от своей импульсивной энергии через защитную систему, обреченную на удовольствие как принцип (!) и на смерть как разрешение, даже на влечение к смерти, просто для того, чтобы избавиться от этих напряженностей.

Моник Шнейдер показывает, как Фрейд-теоретик вздрагивает под первыми ударами соблазна (концепта соблазна), мгновенно разворачивая против него весь психический механизм психоанализа, изначально защищенный частоколом побуждений, сам по себе полностью сосредоточенный вокруг индивида, обреченного управлять своим собственным желанием, распределять свои инвестирования, изобретать свои объектные отношения, фантазировать о своем образе, то есть вокруг существа, для которого все по определению приходит изнутри, в исключительно индивидуальном процессе, и ничего извне, в дуальном процессе.

По сути, чтобы Эдип вернулся в Фивы и к своей эдипальной проблематике (совокупление с матерью, ослепление как символическая кастрация и т.д.), нужно, чтобы Сфинкс был мертв, то есть чтобы Эдип положил конец соблазну и его головокружению, загадке и тайне в пользу скрытой истории, вся драма которой заключается в вытеснении, а ключ — в интерпретации (в то время как загадка

никогда не должна быть разгадана, она соблазняет этой тайной ясностью, которая принадлежит к порядку ясновидения) — нужно, чтобы он положил конец загадке соблазнительницы[113] (Сфинксу) в пользу смертоносной истины.

Также, чтобы и Фрейд ступил на царский путь эдипальной психоаналитической интерпретации, чтобы он вошел в царство бессознательного, совокупился с психоанализом, в конечном счете, с такими же драматическими последствиями для нас, как и приключение Эдипа для его народа, нужно было, чтобы он также положил конец соблазну, убил это загадочное чудовище, кажимость Сфинкса, которое не пропускало к «психической реальности». Фрейд в частном порядке увековечил это умерщвление соблазнительницы «в стремлении либо подавить, либо похоронить внутри себя архаичный материнский соблазн, Сфинкса, ведьму или злую няню.

Однако столь хорошо подчеркнув это первое изгнание психоанализа и то, что вся фрейдистская система строится на этом заговоре соблазна, Моник Шнейдер лишь подменила убийство Отца убийством Матери — в том смысле, что соблазн для нее лишь фигура архаичной Матери, всепоглощающей соблазнительницы, синкретичной матки. Соблазн, который сводится к соблазнительнице, а она, в свою очередь, к всепоглощающей силе, бездонной женской утробе и т.д. Это подвох современного феминизма, который сам введен в заблуждение психоанализом: воскрешать женское начало [féminin] как опасную архаичную и синкретичную силу — это значит, в определенном смысле, соглашаться с Фрейдом, который просто блокировал всепоглощающую

силу желания Матери Именем Отца. Если соблазн только синкретичен, то это тот же Эдип и Закон. Это соблазн как всего лишь совращение, соблазн, который сквозь призму Эдипа и Закона, видится как какое-то пугало [spectre], дьявольское инцестуальное искушение. Так, как если бы Иокаста[114], убив и принеся в жертву истинную фигуру соблазна, загадочного Сфинкса, в мире, искаженном Эдипом, стала бы воплощением мести, обратной реакцией соблазна. Но это не одно и то же: Сфинкс как фигура соблазнительницы, дуальная и загадочная, — и Иокаста, как материнская и инцестуальная, архаичная и синкретичная фигура.

Соблазн — это нечто совершенно иное, чем эта всепоглощающая мать, за что его весьма небезосновательно боялся Фрейд. Если психоанализ (Закон, Отец и т.д.) — это то, что вырывает вас из синкретичного желания Матери, чтобы отдать вас во власть [souveraineté] вашего собственного желания, то соблазн — это то, что вырывает вас из вашего собственного желания, чтобы отдать вас во власть мира. Это то, что вырывает вас из психологической сферы фантазма, вытеснения и другой сцены, чтобы отдать вас во власть головокружительной и поверхностной игры кажимостей. То, что вырывает существа из царства метафоры, чтобы привести к царству метаморфозы. То, что вырывает существа и вещи из царства интерпретации, чтобы привести их к царству ясновидения. Он выступает в качестве формы инициации и возвращает знакам их мощь. Вот почему он не может сосуществовать с дисциплиной, которая придает им лишь смысл, причем смысл злосчастный.

Сновидения были все же чем-то иным, нежели «материалом». В них был шарм, причем пророческий шарм, прежде чем исчезнуть в интерпретации, где они конечно же приобрели смысл, как предполагается, но они уже не были ни соблазнительными, ни фатальными, а сделались значащими. В снах была тайна, а Фрейд придал им смысл. Сны были близки к судьбе, Фрейд сблизил их с желанием. И они потеряли свои чары (даже злые), чтобы уступить место работе бессознательного. Игра мечты как кажимости определяла вовсе не бессознательные и метафорические движения, а эффекты соблазна, траекторию такого порядка событий, когда сон выступал как история, а не как симптом, где он является разве что знаком, дезориентированным своим смыслом. Как чистое событие сон имеет пророческое свойство, которое разрушает аналитическая интерпретация, отсылая его к бессознательной экономике и топике.

Сновидение стало психологическим, перешло в порядок психики и потеряло присущий ему соблазн. Как и неврозы, как и фантазмы, как и оговорки, как и безумие, как и болезнь вообще, которым интерпретация отвела роль симптомов (то же самое Фрейду едва не удалось сделать и с остротой) — все это она приписала бессознательному и отдала на поругание патологии.

> «Я выношу лишь полные, нетронутые и таинственные сны. Они настолько причудливы, что понять их можно только очень медленно... Горе тому безумцу, который будет толковать их слишком быстро: он потеряет их и никогда уже не найдет.
>
> Не следует также сваливать в кучу сны, которые не имеют ничего общего между собой. Их сущность

соответствует их влиянию на реальное. Важно, чтобы они осуществлялись (чего не происходит с ними в психоанализе, равно как и с детством, и многими другими вещами, которые больше не призваны существовать как таковые). Но они это делают иначе, чем представляют себе обычные толкователи сновидений. Сон должен оживить реальность, проникая в нее всеми возможными способами, наступая по всем возможным направлениям и прежде всего оттуда, откуда его и не ждали... Неуловимое все же имеет свою форму, которую оно приобретает своим включением в реальность, и не следует навязывать ему форму извне.

Вред, причиненный толкованием снов, неизмерим. Искажение остается незаметным, но сновидение так чувствительно!.. Очень немногие люди подозревает, что сон уникален. В противном случае, разве осмеливался бы кто-нибудь обдирать их до того, чтобы превратить в какой-то трюизм[115]?»

Канетти

Думаю, в сновидении, как и во всех вещах, есть сущность, то есть идеальная фигура, силы иллюзии которой лишил нас психоанализ. Думаю, существует определенная форма кажимости, идеальная фигура кажимости, сила иллюзии которой лишила нас интерпретация.

Психоанализ — это несчастное сознание знака. Он превращает любой знак в симптом, любое действие — в оговорку [lapsus], любой дискурс — в скрытую сигнификацию, любую репрезентацию — в галлюцинацию желания. Это невероятное косоглазие [strabisme] аналитической интерпретации. В противоположность соблазнительной силе мысли,

психоанализ воплощает собой всемогущество умысла [arrière-pensée]. Недоверие к кажимостям, шантаж симптомом, шантаж скрытым смыслом, раскрытие загадки: психоанализ неразрывно связан с несчастьем, он — генератор несчастного сознания для человека, согласно Ницше, всех потусторонних миров [arrière-mondes]...

Но соблазн мстит за себя. Свое появление в сновидении он иронично превращает в хорошо известную форму лечебных снов [сны-диагносты], которые стараются соблазнить аналитика и сбить с толку анализ. Но напрасно: раскрытие загадки и поражение Сфинкса заставляют прорваться как нарыв всю скрытую обсценность эдипальных отношений — убийство, инцест и, наконец, ослепление, которые всегда сопровождают разоблачение *истины*. Кто прикасается к загадке, всегда впадает в обсценность, и Эдипу, чтобы избежать этой обсценности, не оставалось иного выхода, кроме как ослепнуть. Так отомстил Сфинкс: именно своей гибелью он запер Эдипа в его губительной истории, а Фрейда — в его психологической истории кастрации.

Фатальное, или Неотвратимая обратимость

Случай утомляет меня.

Бог

«В глухой югославской долине, кажется, упразднили случай благодаря своеобразно брошенному жребию». На что мы ответим, что любое падение жребия[116] [случай] уже давно положило конец случайности.

Есть две гипотезы случайности. Первая: все вещи предназначены встретиться и только случай не дает им этого сделать. Вторая: все вещи разрознены и безразличны друг другу и только случай позволяет им иногда встречаться.

Последняя гипотеза заурядная; первая — парадоксальная, зато более интересная.

Как бы то ни было, в заурядной версии кроется глубокая двусмысленность: либо случай удерживает вещи в алеаторной разрозненности (что соответствует его дефиниции), либо способствует тому, что они иногда встречаются. Мы охотно принимаем обе возможности одновременно: вещи происходят случайно — и случай их связывает. Полная алогичность. Случай выражает суверенное безразличие вещей друг к другу или случай выражает тайное желание, нечто вроде злого духа, который получает удовольствие от необычных сопряжений?

Возможно, отгадка такова: современный анализ уже давно выявил недостатки детерминистского объяснения мира и породил алеаторный мир за счет объективной причинности, поэтому все рассматривает с точки зрения случайности, и в то же самое время он пробудил внимание к другим типам связи — не причинным и более скрытым (например, психоанализ и его толкование бессознательного устранили случайность оговорки, оплошности, сновидения, безумия). Возникла другая, более загадочная необходимость, от которой ничто не может ускользнуть в принципе: психологическое или структуральное предопределение, — глубинный порядок вещей бессознателен, но он тем не менее

не исключает случай. Таким образом, на самом деле, мы подменили господство интеллигибельных причин вовсе не случайностью, а механизмом более скрытых взаимосвязей. Случай соотносился бы тогда вовсе не с временной неспособностью науки все объяснить — тогда он имел бы по-прежнему ощутимое концептуальное существование, — а с переходом от состояния причинного детерминизма к другому порядку, радикально отличному, то есть *не*-случайному. Следовательно, случая вообще не существует.

Возникает другая проблема. Чтобы был случай (по крайней мере, во второй версии), нужно чтобы было совпадение, нужно, чтобы пересеклись две последовательности, чтобы встретились два события, два индивида, две частицы. Даже если вероятность этого бесконечно мала, нужно, чтобы этот союз [conjonction] мог иметь место, так же как для существования причинности нужна определенная смежность причины и следствия. Между тем, этот постулат нельзя считать неоспоримым. *Потому что нельзя с уверенностью считать, что встреча не является невозможной*, разве что в мире, где действует чистое соотношение сил, в мире, где вещи, тела, индивиды, события могут соприкасаться, сталкиваться, налетать друг на друга, поскольку они потеряли ту «ауру», которая обычно окутывает их и не допускает скученность. В сакральном, церемониальном мире вещи не соприкасаются друг с другом и никогда не встречаются. Они взаимосвязаны безотказно, но и бесконтактно. В этой области такт заключается именно в том, чтобы избегать контакта. Посмотрите, как плавно переплетаются

между собой церемониальные жесты, наряды, как огибают друг друга тела, как они бросают вызов друг другу но не соприкасаются. Никакой случайности, то есть никакой оплошности, которая устремила бы тела навстречу друг другу, никакого беспорядка, который вдруг позволил бы вещам свободно смешиваться.

То же происходит с нашими телами и с нашей повседневной жизнью. Достаточно было, чтобы развеялась эта аура, которая окутывала движения и тела, — и они случайно сталкиваются на улицах, сосредоточиваются в огромных количествах в городах или в кампусах, сближаются и сливаются в любви. Потребовалась очень мощная сила, чтобы разорвать ту магнетическую дистанцию где движется каждое тело, и создать это безразличное пространство, где они могут войти в контакт благодаря случайности. В каждом из нас есть что-то от этой непокорной силы, даже в самом центре современных секуляризированных пространств, даже в использовании наших эмансипированных, наших пространственно и сексуально освобожденных тел. Что-то от силы табу, которое отторгает всякую скученность, от той разборчивости, которая не приемлет всякую нечаянную встречу, всякое слияние или смешение, которое наступает благодаря случайности. Ведь случайность — не что иное как свобода, с которой тела или частицы на микроскопическом уровне двигаются как угодно в недифференцированном пространстве, которая предусматривает, что у каждого должно быть неприкосновенное пространство, эта свобода с символической точки зрения низменная и обсценная. (Это не имеет ничего общего с каким-

то пуританством — речь идет о том суверенном пространстве, которое необходимо для самого движения тел.) Поэтому случай и статистическая вероятность, которые характеризуют наш современный мир, имеют низменную и обсценную модальность. Мы должны приспосабливаться к ним под знаком свободы, но однажды эта необязательность, эта несогласованность, которая делает возможными многократные встречи и ускоряет броуновское движение наших жизней, оборачивается неопределенностью, смертельным безразличием, которое нас угнетает. Случай утомляет не только Бога, он утомляет также и нас.

Западный материализм создал гипотезу о том, что мир — это грубая материя, которая находится в состоянии алеаторного и беспорядочного движения. Наша первичная сцена мира — это сцена материи, которая остается мертвой, пока Бог не вдохнет в нее дух, смысл или энергию, сцена беспорядка, где лишь Бог может навести порядок, вырвав мир из первозданного хаоса.

«Случай содержал в себе порядок, а когда настал порядок, то он уступил свое место случаю в сотворении мира» (А. Верде[117]).

Проблема всегда заключалась в том, как из этого предполагаемого беспорядка сотворить порядок, как произвести и поддерживать в дальнейшем движение, как пробудить и производить смысл. Это наша навязчивая идея, наш идеал, а также форма нашей катастрофы (энтропия).

Ведь мысль о том, что каких-то рациональных взаимосвязей в этом мире, всегда готовом вернуться в небытие, можно добиться лишь ценой постоян-

ных усилий, — эта гипотеза основательно пессимистическая и отчаянная. Даже Богу это надоело. «Случай утомляет Бога», как сказал один теолог по поводу запрета азартных игр. Даже Бог уже не может бороться со случайностью (в последнее время он сдался и допустил, чтобы упрочился взгляд на мир как сугубо алеаторное явление). У такого отправного пункта нет иного результата. Если допустить, что для [ин]формирования вселенной, для создания осмысленных взаимосвязей, шатких островков *анти*-случайности необходима определенная энергия, то рано или поздно эта энергия исчерпается, и даже у Бога не будет достаточно сил чтобы противостоять уничтожению смысла. Всякий отступился бы, поэтому и Бог прекратил борьбу, отступив перед вторжением вселенной, которая лишена смысла. Бог не возмущен, оскорблен или поражен случайностью, она не представляет для него угрозу, он утомился. Изумительно!

Но можно интерпретировать эту отличную фразу и по-другому. Бог утомлен не борьбой со случаем — он утомился *его создавать*: целую вечность он посвятил этой задаче, потому что на самом деле *нет никакой случайности,* и если нужно ее создать, то сделать это может лишь Бог, ведь это сверхчеловеческая задача.

Создавать случай, чтобы все вещи не вступали в обязательные и непрерывные взаимосвязи — для людей, в счастье или в горе, такое было бы невыносимо. Создавать случай, чтобы люди могли играть и верить в удачу или неудачу, играть и быть свободными от чувства вины. Существует жизненная необходимость верить в возможность несчаст-

ного случая, чисто случайного, акцидентального[118] и безразличного, за который не надо отвечать, например такого, как смерть близкого человека, превратность судьбы, стихийное бедствие: если, кроме того, что эти события «никогда не приходят в одиночку», они еще и должны приписываться какой-то воле, объективному или субъективному вредительству, даже для Бога какое бремя, какая ноша, какое увеличение ответственности и вины, уже нигде нет больше невинности становления! Первобытные люди верили в такое мировое устройство, в мир всемогущества мысли и воли, без малейшей случайности, но они и жили в мире магии и жестокости. Случай позволяет нам передохнуть: никто не хотел этого — какое облегчение! Таким образом именно Бог в своем неизмеримом сострадании и дает нам случай. О событии, от которого хотели бы избавиться, часто так и говорят: «Такова воля Божья» (то есть ничья). Но Бог наконец утомился выражать свою волю, поэтому, вполне возможно, время от времени он отзывает свою волю и отдает мир во власть закона вещей, то есть полного предопределения.

Предположение случайности — это предположение еще более экстраординарного Бога, чем тот, который своей волей упорядочивает все вещи, чем Бог универсального предопределения, провиденциальной или роковой взаимосвязанности всех вещей. Потому что для вещей нет ничего легче, чем взаимосвязываться, чем метаморфизироваться друг в друга. Чтобы помешать этому, чтобы добиться исключительно акцидентального мира, нужно допустить бесконечную волю и энергию, сам Бог не спра-

вился бы до конца с этой фантастической задачей — изолировать все частицы, отменить все последовательности, все разрозненные соблазны и поддерживать абсолютное господство случайности. Насколько, в сущности, искусственное творение этот случай, и как мало шансов на то, что он существует (так же мало, как и шансов на то, что существует Бог).

Бог, наш рациональный и рационалистический Бог, очевидно, бессилен упорядочить ход вещей. Смысл его существования заключался в том, чтобы обеспечивать и освящать некие причинные связи, которые позволяли бы ему вершить над миром Страшный суд, в том, чтобы рассеивать в определенные моменты мглу, которая помутняла его световое восприятие хаоса, в том, чтобы давать возможность возникнуть минимальному различию между Добром и Злом, но Дьявол постоянно нарушал этот кропотливый распорядок, но соблазн беспрестанно размывал это различие между Добром и Злом; не удивительно, что этот Бог умер, оставив после себя совершенно свободный и алеаторный мир, упорядочивать вещи в котором поручил слепому божеству по имени Случай.

Бог так и не выполнил своих обещаний. Он должен был быть причиной всех вещей, а в конце концов дошел до того, что то, что совершается без причины, то, что происходит в крайне редких и маловероятных случаях, стало намного более нагружено смыслом чем то, что происходит согласно своей причине. То, что происходит случайно, приобретает такой смысл и интенсивность, которые мы уже не придаем мотивированным событиям.

В слишком детерминированном, чересчур упорядоченном мире случай является творцом спецэффектов, он и сам по себе спецэффект, для воображаемого он приобретает совершенство несчастного случая (так же как среди целого ряда объектов только пропущенный объект приобретает особую ценность). Таким образом мы находимся в парадоксальном мире, где акцидентальная вещь приобретает больший смысл, больший шарм, чем интеллигибельные взаимосвязи. Но возможно, сама ситуация носит циклический характер [conjoncturelle]: тот шарм и высший смысл, который мы находим в несчастном случае, ироническое и дьявольское удовольствие от случайных совпадений, вероятно могут сравниться лишь с тем удовольствием, которое испытал первый ум [esprit], обнаруживший в хаотичном мире первую причинную связь. В свое время это был Дьявол, за что и должен был гореть в аду.

Но все это исходит из скудной гипотезы, которая является гипотезой о хаотичном мире, против которого надо бороться при помощи рациональных взаимосвязей. В то время как противоположная, изобильная гипотеза гораздо более правдоподобная — а именно гипотеза о мире, в котором вовсе нет никакого случая: ничто здесь не мертво, ничто не инертно, ничто не разъединено, ничто не испытывает декорреляцию, нет ничего алеаторного, напротив, все фатально или безупречно связывается друг с другом — не согласно рациональным связям (они ни фатальны, ни безупречны), но согласно непрерывному циклу метаморфоз, соблазнительной связанности форм и кажимостей. Рассматривае-

мый как скудная энергией субстанция, этот мир живет в инертном страхе перед алеаторным, распадается в случайности. Рассматриваемый в порядке кажимостей и как лишенное смысла их развертывание, как чистое событие, напротив, мир является абсолютной необходимостью. С этой точки зрения, все переполняется связанностью и соблазном; никакой изоляции, никакой случайности — полная корреляция. Проблема заключается скорее в том, чтобы замедлить, приостановить в определенные моменты эту полную корреляцию событий. Остановить это головокружение соблазна, взаимосвязанности форм, этот магический порядок (для некоторых магический беспорядок), который спонтанно возникает перед нами в виде последовательностей или совпадений в цепи (счастливых или злосчастных), в виде судьбы, неотвратимой последовательности, когда все события упорядочиваются как по волшебству, — все это нам знакомо, в частности, в письме и в речи, ведь слова охватывает такое же непреодолимое стремление, когда им позволяют свободно играть и упорядочиваться как судьба; весь язык может слиться в единственную фразу благодаря эффекту соблазна, который увлекает колеблющиеся знаки к центральному объединению. Нам знакома эта цепная реакция, эта очевидность, с которой она возникает, и странная непринужденность, которую приобретает ход вещей, когда он играет сам, благодаря чистой событийной смежности, то есть когда мы не противопоставляем ему наши рациональные связанности, наши логические и конечные конструкции или вторичное развертывание истории.

Все это близко к тому, что Леви-Стросс[119] назвал лингвистическим термином «избыток означающего», — идея о том, что изначально существует означающее, распространенное повсеместно с такой щедростью, что никогда не исчерпывается означаемым. К этому *сверх*-изобильному порядку означающего принадлежит и магия (и поэзия) — это порядок не случайности или неопределенности, а, напротив, налаженный порядок, который отмечается более высокой необходимостью, чем та, которая управляет сопряжением означающего с означаемым (в высшей мере произвольной). Длительная работа над сопряжением означающего с означаемым, которую осуществляет разум, заключается в том, чтобы, так сказать, обуздать и абсорбировать это фатальное изобилие. Магический соблазн мира должен быть ограничен или даже устранен. И произойдет это тогда, когда каждое означающее получит свое означаемое, когда все станет смыслом и реальностью. Определенно, это будет конец мира. Мир буквально закончится, когда все соблазнительные связанности уступят место рациональным связям. Все мы вовлечены в это катастрофическое начинание [entreprise]: разрешить любую фатальность через причинность или вероятность — вот в чем истинная энтропия. Можно, конечно, сомневаться в успехе этого начинания, но нет сомнения в одном: именно судьба, а не случайность является «естественным « ходом вещей. И эту судьбу, то есть молниеносный соблазн форм, стремится сокрушить в своей гордыне разум, а не случайность, которой он с радостью уступает дорогу. Еще раз: «Случай содержал в себе порядок, а когда на-

стал порядок, то он уступил свое место случаю в Сотворении мира».

Работа разума заключается вовсе не в том, чтобы изобретать взаимосвязи, соотношения и смысл, всего этого изначально в избытке, а, наоборот, в создании нейтрального, безразличного, в размагничивании констелляций, неделимых конфигураций, чтобы сотворить из них блуждающие элементы, которые призваны найти свою причину или же блуждать наугад. Разум стремится нарушить непрерывный цикл кажимостей. В результате этого разрушения и возникает случайность, то есть сама возможность недетерминированности элементов, а следовательно, их индифферентности — одним словом, свободы.

Короче говоря, случай — это не что иное, как то, что мы искусственно произвели разрушением форм. Случайности никогда не существовало, особенно в том первоначальном состоянии, которое мы за ней признаем. Изначально все формы выражались друг через друга или скорее неизбежно включались друг в друга, *пустот не было*.

Чтобы была случайность, нужно чтобы были пустоты. То есть те точки крушения всякой субстанции и всякой формы, интервалы, где буквально нет ничего. И для любого другого мышления, кроме нашего, модерного, это немыслимо. Не случайно же (!) изобретение случайности и пустоты приходится на одно и то же время, XVII столетие, и связано с именами Паскаля и Торричелли[120]. Человек модерна буквально выдумал эти нейтральные понятия, эти симуляции отсутствия: случай, пустота — вселенная без связи, без формы, без судьбы, про-

странство без содержания, — две формальные абстракции, которые заложили основы модерности, в результате чего с XVII века начали отступать фатальность и благодать, уступая место экспериментальной демиургии и статистическому истреблению.

Азартная игра парадоксальным образом иллюстрирует отсутствие случайности, ее радикальное отрицание в самом сознании [esprit] игрока. То, что хочет игрок, это конечно же не приобщения к «закону» [теории] вероятностей или больших чисел — в этом не больше увлекательного, чем в какой-то объективной связи, — он ищет шанс, но вовсе не как следствие отдельно возможного случая — нет, шанс как знак избранности, как процесс всеобщего соблазна, который направлен на то, чтобы ухватить именно правило игры (а вовсе не теорию вероятностей), шанс как цепную реакцию, как соблазнительную развязку [catastrophe].

Вся стратегия в сфере игры будет заключаться в том, чтобы спровоцировать деэскалацию рациональных причин и вызвать обратную эскалацию магических взаимосвязей. Не один счастливый случай, затем другой, и так попытка за попыткой (пресловутая равновероятность случайности во всех попытках), но вместо этого фатальная связанность удачных попыток (а также и неудачных, главное здесь не столько выигрыш, сколько фатальность, то есть судьба, которая начинает собственную игру, и ничто уже не может остановить цепную реакцию Сотворения мира, который находится во власти чистого побуждения разума [esprit]). Шанс, как известно, лишь тогда является шансом, когда он растет,

как снежный ком, как катастрофа, когда он сияет, словно источник соблазна, — это не имеет ничего общего с объективной вероятностью, которая здесь прекращается и заслуживает разве что расчета. В то время как шанс *нужно форсировать*, Бога надо как следует просить, как следует соблазнять, тогда ему ничего не остается, кроме как ответить, как дать вам все. Ему ничего не остается, кроме как только позволить, чтобы вещи развивались согласно их естественной склонности, согласно их судьбе, которая сцепляет между собой все формы (включая числа), без исключения, без случайности, без отказа. Это и есть фундаментальное правило игры, и сам Бог подчиняется ему.

Именно это фундаментальное правило тайного сопряжения мира, правило невероятного сопряжения всех форм согласно судьбе и позволяет принять произвольные условия игры (конкретные правила) с церемониальными (а не договорными, как в обмене, упорядоченном законом) целями, как совершенно конвенциональный ритуал, где, не без оттенка иронии, отражается абсолютная необходимость, которая лежит в основе игровых ожиданий.

Все мы игроки. В том смысле, что больше всего мы хотим чтобы время от времени разрушались рациональные связи, которые развиваются постепенно, и чтобы, хотя бы на короткое время, устанавливался другой, небывалый порядок, грандиозная эскалации событий, экстраординарная, словно предопределенная последовательность наименьших деталей, когда создается впечатление, что вещи, до сих пор искусственно удерживаемые на расстоянии соглашением последовательности и причинности,

внезапно оказываются не подчинены случаю, а спонтанно сходятся [convergent] и согласуются с такой же интенсивностью, благодаря самой их связанности.

Это нам и нравится. Это наши истинные события. Это очевидность того, что нет ничего нейтрального, ничего индифферентного, что все вещи сходятся, стоит только прекратить их «объективное» соглашение с причинностью, — это сама очевидность соблазна. И для этого, чтобы обойти круговорот причинности, нужно лишь ввести произвольные знаки, разновидности произвольного кода, такие как правила игры, создать помехи, которые расстроят причинный механизм, объективный ход вещей, и *вновь приведут в действие их фатальную связанность*. Это реальные вызовы, которые мы практикуем достаточно часто, точно так же, как игрок в игре. Даже письмо делает это — в поэзии или теории, письмо не что иное как проекция произвольного кода, произвольного механизма (изобретение правил игры), где вещи начинают сцепляться в своем фатальном развертывании.

Эти тихие катастрофы, эти обвалы смысла, эти эффекты событийной турбулентности можно интерпретировать, как Давид Рюэль[121], в рациональной логике непредсказуемого, согласно тому, что он называет «чувствительной зависимостью системы от первоначальных условий», когда систему в начале возмущает минимальная пертурбация, которая, увеличиваясь по экспоненте (особенно в непосредственной близости от странных аттракторов[122]), приводит за относительно короткое время к непредсказуемым последствиям: «Чих, спустя не-

сколько месяцев может стать причиной циклона в другой части света». Последовательность, которая завораживает чрезмерностью следствия, но которая остается объективной и детерминистической, даже в непредсказуемости. Думаю, в этой внезапной эскалации, которая застигает ход вещей, есть что-то еще. Речь идет о логической мутации, а не просто о логической экспоненте. Примерно как во снах по Фрейду, когда слова, опустошенные от своего значения, оказавшись в своем грубом материальном состоянии, начинают функционировать как вещи, а следовательно, и связываются в своей материальной, бессмысленной (а не случайной) имманентности, вне всякого синтаксиса и всякого принципа связности, — слова *принимают себя* за вещи и, как следствие, вовлекаются в игру вещей, — поэтому можно вести речь о том, что и сами события порой вовлекаются в игру, по ту сторону всякой психологии или объективной причинности, и удваивают свою ставку в игре, невзирая на контекст своей истории, — случается, что и сами ситуации ускользают от своего собственного смысла и, в сверхчувственном сцеплении, стремятся создавать события сами. Взаимосвязи, которые возникают вследствие этого, имеют вид катастрофы, то есть взаимостолкновения, неожиданной турбулентности событий, но при этом, так же как «свободные» сочетания слов во снах, сохраняют характер чрезвычайной необходимости. Таким образом, малейшее изменение гравитации, микроскопические «циклоны» рождаются в самих событиях, в непосредственной близости от субъекта, однако вне него, — чистые события, где

сам субъект является уже не словом, а вещью и функционирует по воле вещей.

Во сне я испытал сильную, хотя и загадочную скорбь. Кто-то сказал мне, что я еще легко отделался. Я отвечаю, что это всегда так бывает. И все кругом заходятся от хохота. Я вызвал что-то вроде катастрофы смеха. И благодаря этому совпадению, которое произошло между тем немногим, что я высказал, и его чрезмерным следствием, я чувствую себя загадочным образом уничтоженным, стертым. Что же такое я возбудил, сам того не зная? Или скорее в какую необычную взаимосвязь вступил вопреки своей воле? Взаимосвязь, которая зависит *именно от того, что я сказал*, а не от того, что я представляю собой, ни даже от ситуации сна, — она должна зависеть именно от незначительности моих слов и от самой их банальности.

Что еще сказать? Нет ничего более близкого к этому восхитительному, головокружительному, неразрешимому ощущению, что ты решающий элемент определенной ситуации, даже если и заключается она в том, чтобы угодить кому-то единственным взглядом. Ничтожно малая причина и чрезвычайное следствие — это наше единственное доказательство существования Бога. Неисчислимые взаимосвязи являются основой не только наших снов, но и, по большей части, нашей повседневной жизни. Мы ничего так не любим, как это безумное искажение следствия и причины, — оно открывает нам невероятный горизонт нашего собственного происхождения и наших потенциальных возможностей. Говорят, что соблазн — это стратегия. Нет ничего более неверного. Он основывается на этих непредсказуемых

взаимосвязях, которые любая стратегия лишь пытается воссоздать.

Причина *производит* следствие. Следовательно, причины всегда имеют смысл и цель [fin]. Следовательно, они никогда не ведут к катастрофе (они испытывают лишь кризисы). Катастрофа — это отмена причин. Она подавляет причину следствием. Она толкает причинную связь к гибели. Она отсылает вещи к их чистому появлению или к исчезновению (и появление чистого социального, и его одновременное исчезновение в панике). Однако она зависит не от случая или неопределенности, а, в определенном смысле, от спонтанной связанности кажимостей или спонтанной эскалации воли, как в вызове, или же от спонтанного изменения форм, как в метаморфозе.

Вовсе не причины, а кажимости, сцепляясь сами собой, ведут к катастрофе. В отличие от кризиса, который является нарушением причин, катастрофа представляет собой делирий форм и кажимостей. Так же как бред является чистой безреферентной последовательностью языка, а церемониальность — чистой безреферентной последовательностью жестов, обрядов и нарядов, так и катастрофа представляет собой чистую безреферентную последовательностью вещей и событий, и это как раз не случайность, а формальная последовательность наивысшей необходимости (что наблюдается в абсурдной эскалации негативных или гротескных событий, которые временами с нами случаются: вместо того чтобы сосредоточиваться в печали и рассеиваться в смехе, как было бы, если бы только случай наслаивал их друг на друга, они рассредоточивают-

ся и взаимно аннулируются в чем-то вроде спонтанного стихийного бедствия, и единственным движителем остается наслаждение, соблазн их формального развертывания, красота их переплетения). Единственным удовольствием на свете является видеть, как вещи «оборачиваются» в катастрофу, выходят в конце концов из-под власти детерминированности и недетерминированности, необходимости и случайности, чтобы войти в царство головокружительных последовательностей, где все достигает своей цели без средств, все достигает своего следствия без причин — все движется, так же как острота или соблазн, не окольными путями смысла, а сверхскоростными путями кажимости.

Поэтому случая не существует. Случайность характеризовала бы абсолютно невероятную возможность, когда вещи, лишенные их детерминаций и их причин, были бы предоставлены сами себе, были бы по-настоящему свободны и дрейфовали бы в алеаторном гиперпространстве с очень сомнительными шансами на близкий контакт третьей степени[123]. Приблизительно такая судьба отведена и нам в конце всех наших высвобождений, в том молекулярном [ядерном] аду, который нам уготован. Но на другом уровне, гораздо более радикальном, чем реальное, такое абсолютно невозможно: случайность, понятие случайности предусматривает, что нет другой связи, кроме как причинная. Поэтому со стороны необходимости это выглядит глупо: если у вещей нет больше причин (или если они больше не могут их «создавать»), тогда они уже и не принадлежат ни к какому порядку, разве что могут вернуться к принудительному уравнению вероятностей.

Будто мертвые души бродят они в чистилище алеаторности. Чистилище причинности — вот что такое случайность. Там, где души ожидают, что бы им вернули их тела, там, где следствия ожидают, что бы им вернули их причину. Как раз на пороге молекулярного [ядерного] ада, где действительно будут навсегда уничтожены.

Но вещи имеют другие связи, кроме причинных. Например, фатальность (которую, по большей части, путают со случайностью в ее трагических последствиях). Помню, когда мы на машине чудом избежали падения в обрыв, то испанцы останавливались на обочине дороги, чтобы набожно дотронуться до нас, и говорили: «*Suerte, suerte* [судьба, судьба]...» В фатальности, или в судьбе, последовательность вовсе не является последовательностью причин, в ней знак появления вещей также является знаком их исчезновения. Знак их рождения является знаком их смерти. Вы можете пытаться нарушить порядок причин, изменить ход вещей, бежать куда глаза глядят или воспользоваться психоанализом, но все тщетно: тот же самый знак, та же самая констелляция, та же самая характерная черта, то же самое незначительное событие, которое присутствовало при рождении, обнаруживается и в момент смерти. Символ возвышения является символом падения, символ появления является символом исчезновения. Это и есть судьба. И вы сколько угодно можете исходить из своих интерпретаций, но это бесполезно. Никакого кода, никакого шифра. Эффективен лишь один знак. Это не обязательно касается целой жизни или целой династии, как в античной трагедии, это может быть лишь короткий эпизод, но с фатальной, а не рацио-

нальной или акцидентальной последовательностью: нет ничего менее случайного, чем тот же самый знак, который присутствует в начале и в конце. Остальные по сравнению с ним акцидентальны, остальные являются случаем, но этот — фатумом. Фатальное абсолютно противоречит случайному (так же как конечно же и рациональному). Тем не менее мы уже давно отдаем предпочтение случайной (потому что рациональной оказалась недостаточной) версии мира перед фатальной. Наша версия видимого мирового беспорядка — это предпочтительная версия случайности и акциденции. Тем не менее вполне вероятно, что случайное крайне редко, вопреки тому, что о нем думают (случай маловероятен), а фатальность проявляется очень часто. Большую часть времени мы теряем, делая ставки на тот номер, который уже выигрывал, и не только за игровым столом. Вы можете сказать: ничего странного, люди всегда ставят на тот же номер, — но как раз *нет ничего случайного* в том, что они ставят на тот же номер.

Вопреки всей нашей добродетельной морали вещи могут иметь предопределенную последовательность. Вместо того чтобы развертываться согласно генезису и эволюции, они заведомо вписываются в свое исчезновение. В этом случае их отличает именно пророчество, а не предвидение. Если вы знаете знак появления, то гипотеза фатальности, которая заключается в том, что ход вещей или игровых перипетий неотвратимо приведет эту жизнь к той же точке, фатальному пересечению того же знака, данная гипотеза позволяет предсказать это событие, потому что это — событие определенного

знака. Тогда вы можете пророчески видеть ход событий, словно ход церемониала, мирового церемониала, последовательность действий в котором имеет всегда неизменный характер. Все не является судьбой, все не является церемонией, но, несомненно, в каждой жизни [existence], в нарушении ее причин и следствий есть небольшие и неизменные эпизодические последовательности, которые представляют наивысший интерес.

Два события на расстоянии десяти лет. Между ними нет никакой связи. Два исчезновения, эквивалентные символическому убийству. Нечто такое, что — как бы это сказать? — духовно неискупимое. Первый раз я сам исчез, во второй был покинут без всяких причин. Это ничуть не восстанавливает равновесие, и ничего не искупает (что здесь искупать?). Но история допустила, чтобы между этими двумя скрытыми друг от друга событиями тайно установилась обратимость, хотя я также никогда не проводил между ними связи (а должен был бы, ведь этих двух людей я постоянно видел во снах на протяжении нескольких лет) до тех пор, пока оба эпизода не явились мне под одним и тем же знаком и внезапно разрешились в красоте этого сочетания. Тем знаком было имя — обоих звали одинаково. Никто не может сказать, какие бесконечно малые следы вещей приведут к развязке, но несомненно одно — это не случайность. В данном случае меня озарило совпадение этих двух имен, и мгновенно эти два события, которые оставались неискупимыми, потому что не имели истории (не было о чем рассказывать, не было ни фабулы, ни алиби, ни хороших или плохих оснований, ничего, — исчезновения были решительны

и окончательны; а мы, как правило, любим разрешать вещи лишь с помощью истории или психологии), попали в плоскость другого, более необычного способа решения, соединились в что-то вроде остроты или предопределения, в результате чего они встретились, эти два события-призрака, освобожденные и лишенные того, что каждое из них поотдельности делало непонятным. Их удвоение, их удвоенное воображаемое, их сочетание мгновенно сделало их понятными, однако тайна *и одного, и другого так и осталась нераскрытой*. Что в психологическом плане происходило с той и с другой стороны в обоих случаях? Это не имеет никакого значения, поскольку то, что не имело смысла, разрешилось в другой последовательности.

Я сэкономил на психоанализе (бессознательное здесь ни при чем).

Сила событий, которые происходят с вами без вашего желания, без вашего участия. Но не случайно. Ведь происходят они с вами, и это совпадение касается вас, оно вам предназначено. Даже если вы и не хотите этого, *именно потому что* вы не хотите, оно все же соблазняет вас. В этом все различие между судьбой и случайностью. Ведь чистый случай, даже если допустить, что он существует, нам вовсе безразличен, в чистой случайности нет ничего, что могло бы нас соблазнить, она объективна, да и только. Впрочем, именно эту стратегию случайности мы принимаем, чтобы нейтрализовать событие или же смягчить впечатление от него: «По воле случая» (а не по моей). Смерть в результате несчастного случая друга или близкого человека не может не вызвать какого-то фантазма вины. Или же невыно-

симой мысли, что другой покинул вас по прихоти смерти. Все предпочтительнее, чем эта ментальная жестокость мира, которым правит всемогущество мысли. И здесь на помощь приходит случай: достаточно лишь подумать (хоть это и тяжело), что все происходит без причины или с максимумом объективных (технических, материальных, статистических) причин, которые снимают с нас любую ответственность — на самом деле освобождают нас от того, что может крыться для нас самих в этих событиях — от глубоко соблазнительной мысли, что нам хотелось бы быть причиной этого события. Ведь нам хочется быть причиной чьей-то смерти (так же, как и чьей-то жизни или счастливого события). И в этом нет ничего возмутительного. Это вовсе не значит, что мы желаем чьей-то смерти. Но лучше, чтобы это произошло по нашему желанию, чем случайным образом. С моральной точки зрения недопустимо хотеть чьей-то смерти, но с символической точки зрения, которая является более фундаментальной, недопустимо, чтобы смерть эта была следствием чистой случайности. Поэтому с моральной точки зрения мы можем хотеть оградиться всеми возможными алиби (в том числе и случаем) от фатальной связанности событий, но с символической точки зрения у нас вызывает глубокое отвращение нейтральный мир, где правит случай, а следовательно, безопасный и лишенный смысла, так же как и мир, где всем правят объективные причины: хотя и в том, и в другом легче жить, но ни один из них ничего не стоит против захватывающего воображение мира, которым правит божественная или дьявольская связанность *необходимых* совпадений, то есть мира,

где мы соблазняем события, вызываем их и вынуждаем произойти всемогуществом мысли, — жестокий мир, где ничто не является невиновным, особенно мы, мир, в котором растворяется наша субъективность (но мы принимаем это с радостью), потому что она растворяется в автоматизме событий, в их объективном развертывании. Она становится, в определенном смысле, миром. Не забываем: если мы претендуем на ту минимальную мудрость, которая присущая этому миру, то *надо хотеть его, тем или иным образом* любить его, тем или иным образом нужно его добиваться, а для этого надо, чтобы из-под власти вашей мысли и вашей воли не ускользала ни смерть вашего друга, ни какой-либо иной инцидент или катастрофа.

Мы *хотели бы*, чтобы был случай, чтобы был нонсенс, а следовательно, и невиновность, чтобы боги и дальше играли в кости со вселенной, но мы *отдаем предпочтение* тому, чтобы везде была суверенность, беспощадность, фатальная связанность, чтобы события были радикальным следствием мысли. Это мы любим и отдаем ему предпочтение. Также мы хотели бы, чтобы все следствия зависели от их причин, но мы *предпочитаем*, чтобы случайное и свободное совпадение пронизывало мир. Думаю, прежде всего мы отдаем предпочтение фатальной связанности. Детерминизм никогда не упразднит случай. Но никакая случайность никогда не отменит судьбу.

> То, что происходит, настолько преобладает над тем, что мы думаем, настолько опережает наши помыслы, что мы никогда не сможем его настичь и по-настоящему постичь его.
>
> Райнер Мария Рильке[124]

Вот определение судьбы: прецессия[125] следствия самим его причинам. Таким образом, все происходит, прежде чем это случилось. Причины следуют после. Порой даже вещи исчезают, прежде чем произойти, прежде чем появиться. И что в таком случае мы о них знаем?

В том, что вещи опережают развертывание своих причин, в их временной прецессии и заключается их секрет. И в этом секрет их соблазна, а также то, что всегда мешает произойти реальному, поскольку реальность — это лишь совпадение во времени события и развертывания его причин.

Когда вещи опережают свои причины, у них есть время, чтобы *появиться*, произойти в виде кажимостей, прежде чем стать реальными. И тогда они сохраняют свою силу соблазна.

Вероятно, что и сама скорость — это лишь следующее: искушение для людей и вещей с помощью или вопреки всякой технологии опережать свои причины и, таким образом, настигать свое возникновение, чтобы его аннулировать. В этом и заключается головокружительный способ исчезновения (Поль Вирильо). Другой пример — письмо: опережать понятийную [conceptuel] последовательность — в этом и есть секрет письма.

Применительно к катастрофической случайности — катастрофа всегда опережает привычное время наступления; она всегда является взаимостолкновением, внезапной моментализацией времени, сейсмическим толчком, который смыкает отдаленные берега времени, смысл ее всегда приходит с опозданием. Это как кафкианский Мессия: он придет только тогда, когда уже больше не бу-

дет нужен, не в день Страшного суда, а на следующий.

Это то вечное опоздание, на которое вещи обречены смыслом. Обречены постоянно находить причины, чтобы предотвратить престиж своего появления; находить смысл, чтобы предотвратить кажимость, чтобы замедлить свое слишком быстрое развертывание.

Эта обратимость причинного порядка, это обращение следствия в причину, эта прецессия и это торжество следствия над причиной имеет основополагающее значение. Эту обратимость можно назвать первостепенной, фатальной и изначальной. Это и есть судьба. Несомненно, в определенном смысле она представляет смертельную опасность, именно потому что не оставляет места для случая (случай *a contrario* [от противного] проистекает только из порядка причинности). Вот почему наша система, по существу западная, подменила ее другой прецессией, прецессией причины следствию, а в последнее время — прецессией моделей, прецессией симулякров самим вещам, которая также предотвращает появление вещей другим способом. Прецессия против прецессии — в этом следует видеть вызов, который противопоставляет оба порядка. Здесь нет места для случая, то есть для нейтральной и неопределенной субстанции. Мир манихейский, в нем категорически противополагаются два порядка. Ничто не определено, но все антагонистично.

Вот почему следует не ограничиваться простым кризисом причинности. Вещи могут находиться в состоянии кризиса лишь при «нормальном» развитии

событий, тогда кризис — это корректировка причинности, время раскрыть причины и найти рациональную связанность причин и следствий. Тогда как в этой внезапной прецессии, в этой обратимости событий, которые пожирают собственные причины, у вещей уже даже нет времени, чтобы оспорить свое положение и скорректировать свое развертывание. Чистая акциденция, резкое взаимное столкновение реального и его репрезентации, как сказал бы Клеман Россе, не оставляет никакого шанса критической темпоральности смысла. Это порядок появления и чистой кажимости. Все разыгрывается в этом сальто-мортале смысла.

Именно это смутно видит наука, когда, поставив под сомнение детерминистический принцип причинности (это лишь первая революция), не удовлетворяется этим, поскольку чувствует, что даже за пределами принципа неопределенности, который еще разыгрывается как гиперрациональность, — случай является свидетельством гибкости [flottaison] законов, а это уже чрезвычайное явление, — и в биологической, и в физической областях своей деятельности с недавних пор она начала улавливать и то, что существует не только гибкость и неуверенность, но и возможная *обратимость* физических законов. А это — *абсолютная загадка*: не какая-то там ультраформула или метауравнение вселенной (то, чем была еще теория относительности), а идея о том, что любой закон может реверсироваться (не только частица обернуться античастицей, не только материя антиматерией, но и сами законы). Эта обратимость, гипотезу о которой всегда выдвигали крупные метафизики, является фундаментальным пра-

вилом игры кажимостей, метаморфозы кажимостей, вопреки необратимому порядку времени, закона и смысла. Очень увлекательно наблюдать, как наука сама приходит к гипотезам, которые настолько противоречат ее собственной логике и ее собственному развитию.

Поэтому последним словом является ни причинность, ни детерминизм, ни даже плавающая [flottante] причинность в принципе неопределенности и теориях вероятности и относительности, а реверсия и обратимость.

Вещи, стало быть, не связаны законом, и они не свободны и не детерминированы благодаря случаю, но обратимы согласно правилу. Тогда возникает такая проблема: как могло случиться, что, исходя из обратимого порядка, возник необратимый порядок — порядок времени, причинности, истории и самого случая? Но возможно, все это лишь составляет *эффект* необратимости в нашем мире, и, возможно, это он меняется, если даже физические законы, которые являются самой надежной гарантией эффекта причинной необратимости нашей вселенной, понемногу склоняются к обратимости?

Как бы там ни было, но именно от этой обратимости, а не от причинности, следует ожидать небывалых последствий. От нее, а не от случайности и ее смехотворной статистической объективности, надо ожидать сюрприза — возможности избежать одновременно и случая, и необходимости. Фатального и загадочного оборота, который приведет в действие порядок появления и исчезновения вещей.

Иллюзионист и роза Парацельса.

Виртуозный в своем искусстве иллюзионист мечтает выполнить грандиозный трюк [magnum opus]: сделать так, чтобы женщина, которая находится с ним на сцене, исчезла на глазах у всех. С кроликом, шарфом или шляпой он проделывал это легко, а вот с женщиной никак не получается, и он мечтает об этом. Пока однажды во время вечернего представления зал не взрывается аплодисментами: женщина исчезла. То есть у него наконец-то получилось, но как? Вся проблема в том, чтобы выяснить, какими тайными способами и какой непредусмотренной уловкой он добился успеха (возможно, что не так-то просто, достаточно было подумать об этом, представить, что наконец-то она исчезла?), но, возможно, это была не какая-то сила, которая заставила женщину исчезнуть, а просто случайность, когда иллюзионист ни при чем, и правит здесь лишь случай?

Еще дна история — о Парацельсе. К нему приходит незнакомец, он хочет, чтобы Парацельс стал его учителем и научил его всему, что умеет. Однако он требует немедленных доказательств его мастерства. Парацельс отвечает уклончиво. Однако незнакомец настаивает, а затем бросает в огонь камина розу, которая была у него в руке, и взывает [défie] к учителю, чтобы тот возродил ее из пепла. Парацельс отказывается, говорит, что не может этого сделать. Разочарованный и недовольный несостоявшийся ученик уходит. Тогда Парацельс наклоняется к камину, произносит единственное слово, и роза возрождается.

В этом рассказе Борхеса присутствует непроницаемость, и за этой довольно условной историей об

учителе и ученике практически невозможно до конца понять, владел ли Парацельс на самом деле умением возродить розу с помощью единственного слова или просто попробовал это сделать и каким-то чудом или случаем это у него «сработало», сильно удивив его же самого. В сущности, он не солгал, когда сказал ученику, что не может этого сделать, а затем эта возможность внезапно пришла к нему; или, быть может, это была вовсе не возможность, а случай, акциденция, возникновение которой навсегда останется тайной?

В результате чего же такого, что не было ни случайностью (это слишком маловероятно), ни возможностью (это слишком легко) женщина исчезла, а роза снова появилась? Надо думать (спросите: зачем искать правдоподобие в воображаемых историях? — но именно они, а вовсе не правдоподобные истории, требуют найти тайное решение, они — как остроты, которые требуют остроумной формы анализа), так вот, надо думать, и эта гипотеза, как мы хорошо понимаем, сама по себе ирреальна, также как и доказательства, которых ей недостает и всегда будет недоставать, — что все разыгрывается в неотвратимой обратимости вещей, которую достаточно лишь постичь. *Ничто в корне не противоречит тому, чтобы эта женщина исчезла*, и секрет иллюзиониста в следующем: все реальные вещи готовы, склонны к тому, чтобы немедленно исчезнуть, они лишь ждут, чтобы это обозначили. Достаточно лишь устранить волю к реальному, которая у нас есть, волю к сохранению и существованию, которая вынуждает их оставаться после того, как они появились. Или скорее нужно постичь прави-

ло, согласно которому, как только вещь появляется, она непрестанно стремится к исчезновению. Таким образом, вещи только и ждут, чтобы их соблазнили, достаточно лишь устранить волю к смыслу. И исчезновение женщины, и появление розы идут рука об руку. Чтобы заставить женщину исчезнуть, надо ее соблазнить (отвлечь ее от ее реального, слишком реального существования). Чтобы возродить розу, достаточно ее соблазнить (отвлечь ее от ее *не*-существования в виде пепла). Ведь соблазнять вещи — значит снова вовлекать их в цикл появления и исчезновения, цикл бесконечных метаморфоз, а значит, самого себя вовлекать в цикл, где нет ни случая, ни возможности, но где связываются согласно неотвратимому правилу (это сама судьба) появление и исчезновение. Согласно линейному и волевому порядку женщина никогда не может исчезнуть, а роза никогда не может снова появиться. Они могут это сделать лишь согласно порядку обратимости, и все искусство заключается в том, чтобы в него включиться.

Мировой церемониал

В порядке, где в высшей степени условные и прекрасно отлаженные взаимосвязи, в порядке, где взаимосвязи полностью свободны от необходимости, церемониал является эквивалентом фатальности.

Экстатическая последовательность подобна той, что присутствует в игре: церемониал не имеет смысла, он имеет лишь эзотерическое правило. И не имеет цели [fin], потому что инициационен.

В нем возгоняется окончательно искусственный и условный порядок мира, оккультная объективность, которая просвечивает сквозь субъективность кажимостей.

Говорят, что дикарское мышление все субъективировало безотносительно к объективности мира. Но это именно мы, прикрываясь алиби объективности разума, все субъективируем, все психологизируем, повсюду насаждаем оккультную субъективность.

Церемониал кладет конец этому оккультизму субъективности.

Никогда не надо смотреть на солнце — восходящее, заходящее, во время затмения, отражающееся в воде, идущее в середине неба.

Не следует ни перешагивать веревку, которой привязан теленок, ни бежать во время дождя, ни смотреть на свое отражение в воде — таково установленное правило.

Когда идешь, надо оставлять с правой стороны земляной холмик, корову, идола, брахмана, горшок с коровьим маслом, медом, перекресток и хорошо известные деревья.

Он, даже возбужденный, пусть не приближается к жене во время месячных и даже не спит с ней на одном ложе.

Не полагается ни есть вместе с женой, ни смотреть на нее вкушающую, чихающую, зевающую и сидящую в вольной позе.

Ни натирающую свои глаза мазью, умащенную, обнаженную и рожающую.

Не следует мочиться ни на дорогу, ни на пепел, ни в загоне для коров, ни на вспаханную землю, ни

в воду, ни на основание жертвенника или погребального костра, ни на горе, ни на развалины храма, никогда — на муравейник.

Ни в норы, населенные живыми существами, ни на ходу, ни стоя, ни на берегу реки, ни на вершине горы.

Никогда не следует испражняться лицом к ветру, огню, брахману, солнцу, воде, а также корове.

Надо испражняться днем, обратясь лицом к северу, ночью — обратясь лицом к югу, на рассвете и в сумерки — как днем.

Законы Ману[126], книга IV

В кодексе Ману скрупулезно ритуализирована каждая деталь существования: театр жестокости, — каждый момент отмечен знаком необходимости, размежевания [discrimination], сакрального различия (это вовсе не социологическое различие, которое характерно для менее прочного и более банализированного порядка, где правило и церемониал находятся в состоянии беспорядка, который оставляет место для субъективных оценок, но, в сущности, этот *социологический* порядок совсем неинтересен) в малейшем жесте, малейшем слове, малейшем телесном выделении, малейшем из природных явлений. Все инициационно в том смысле, что все происходит лишь под знаком необходимости, неизбежности ее возникновения, все изменяется под знаком необходимости, неизбежности метаморфозы.

В этом и заключается мировой церемониал, его безупречное упорядочивание, которое является противоположностью субъективного желания и объективной случайности. Желание и случай вычеркнуты из церемониала. Это даже не метафора. В Зако-

нах Ману нет никакой метафоры, никакой риторики, никакой аллегории, никакой метафизики. И таинства тоже нет: чистый ход, чистый код церемониала, где обязанности расписаны и днем, и ночью. Язык имманентен, как ритуал: он предписывает правила, не примешивая ни диалектику, ни психологию. И даже не прибегает к поддержке или аллюзивности мифов. Он просто говорит, что надо делать, и точка. Никакой системы ценностей или интерпретации — система правил.

И вот тогда знаки приобретают наивысшую интенсивность — когда они требуют лишь чистого соблюдения. Когда они, как правила игры, подталкивают к наивысшей степени произвольности и размежевания. Не *различие*, которое всегда имеет смысл, а *размежевание*, которое является по-настоящему строгой формой маркировки и эквивалентом предопределения во времени — того, что уже есть, прежде чем произойти (а следовательно, совершенно чудесного), того, что приобретает силу знака, прежде чем приобретает смысл (а следовательно, совершенно произвольного), того, что устанавливается как цель, прежде чем быть обоснованным (и следовательно, совершенно безосновательного). Все это может показаться нам в моральном, сентиментальном и демократичном беспорядке, в котором мы живем, совершенно неоправданным и имморальным — на самом деле мы уже давно точим зуб на предопределение и размежевание, а взамен с любовью культивируем целесообразность и различие, — однако именно в предопределении и размежевании вещи и знаки излучают максимальную интенсивность, фасцинацию и удовольствие.

Процесс, который регулирует события в мире на основе возникновения чистого знака, или явления церемониального знака, даже если это катастрофический процесс, всегда будет более грандиозным и более захватывающим, чем процесс причинного развития. Процесс, который крадет нашу свободу и нашу ответственность, вовлекая нас в цикл предопределения (хотя бы в самой банальной форме «шанса»), имеет намного больше шансов соблазнить нас, чем процесс освобождения и наделения ответственностью, который, в любом случае, также не имеет оснований: вместо того, чтобы предаваться комичности свободы в борьбе со своими собственными принципами, мы предпочитаем предаваться трагичности чистой произвольности. Каждый втайне предпочитает произвольный и жестокий порядок, который не оставляет ему выбора, нежели муки свободного порядка, когда он даже не знает, чего хочет, когда он вынужден признать, что не знает, чего он хочет, ведь в первом случае он обречен на максимальную детерминацию, а во втором — на безразличие. Каждый втайне предпочитает порядок настолько строгий и настолько произвольный (или настолько нелогичный, как предопределение или церемониал) ход событий, что малейшее нарушение может обрушить всю целостность, нежели весь диалектический путь разума, где финальная логика доминирует над всеми акциденциями языка. Конечно, в глубине души мы хотим избежать судьбы, нарушить церемонию, так же как насильно нарушить любой порядок, но это насилие и само предопределено, оно вырисовывается в самой форме церемониального порядка, это не спонтанное насилие, оно

создает драматургическую *перипетию*. Взять хотя бы эту прекрасную сцену из фильма *«Адские врата»*, когда во время длинной чайной церемонии, которая происходит в тишине, один из рыцарей резко встает и опрокидывает чашку: все тайные конфликты находят свое выражение в этом единственном знаке, в его насилии, источник которого кроется не вне, а в самом церемониале — кажется, будто само напряжение церемониала порождает этот внезапный разрыв как его неизбежное следствие. Таким образом церемониальное насилие возникает не как нарушение, а как обострение правила, когда весь мир замирает в неопределенности от того, что прерывается игра. Такой же эффект достигается и в китайской опере, когда находящиеся в движении воины, вдруг останавливаются в самом разгаре поединка, застывают в немом пароксизме, когда сама неподвижность творит насилие над движением.

Таким образом, всякий церемониал насильственен в своем развертывании, но это насилие проистекает из обратимости правила, а не из нарушения Закона. Знак увлекает за собой обратный знак лишь самой силой знаков. Уже сама по себе последовательность знаков в церемониале и то, что они могут следовать друг за другом и порождать друг друга согласно лишь самому правилу ритуала, представляет собой насилие над реальностью. И то, что всякий церемониал развертывается циклически, является насилием над временем. И то, что организуется он лишь самими знаками, тысячами чистых знаков, в которых приобретает сверхчувственную связанность, является насилием над смыслом и логикой смысла. Весь соблазн церемониала заключа-

ется в этом идолопоклонническом, семиургическом, варварском насилии, которое противостоит культуре смысла.

Церемониал является синонимом неспешности, потому что принадлежит к порядку предопределения и отлаженного развертывания. Поспешность, как и при жертвоприношении, была бы кощунством. Нужно оставить правилу время для игры и жестам время для выполнения. Нужно оставить времени время чтобы исчезнуть. У церемониала есть предчувствие своего развития и своего конца. У него нет зрителей. Там, где начинается зрелище, заканчивается церемониал, ведь он является также и насилием над репрезентацией. Пространство, в котором он движется, не сцена, не пространство сценической иллюзии, это место имманентности и развертывания правила. Вспомним еще раз игровой процесс (карты, шахматы, азартные игры): в игровой страсти нет и капли театральности — вся интенсивность направлена вовнутрь, на внутреннее действие правила, в отличие от сцены и зрелища, которые открыты для взгляда. Наименьшее сценическое вторжение взгляда вызывает провал церемонии в эстетику, благодаря чему она становится источником эстетического наслаждения, но церемониал принадлежит не к порядку наслаждения, а к порядку возможности, и ее сила проистекает из имманентности ее развития в каждом из ее знаков и участников, а не из некой трансцендентности эстетического суждения.

Так же как расовая и ритуальная красота японских лиц противоположна рефлексивной и идеализированной эстетике наших западных лиц. Наша за-

падная красота связана либо с особенностью натуры и экспрессии (красота характера), либо с особенностью моды (преобладание последовательных моделей, идеальности определенной черты в определенный момент и т.д.). Натурализованная и моделируемая, она предполагает различие прекрасного и безобразного (а в последнее время и довольно жесткий шантаж красотой). Восточные же черты, наоборот, — не считая того, что японцы вообще меньше внимания уделяют лицу и больше жестикуляционной церемонии всего тела, — имеют расовый, а следовательно, произвольный и условный характер, в противоположность нашей натуралистической и экспрессионной эстетике, но благодаря этому они приобретают более необыкновенную красоту — красоту одинаковой для всех ритуальной морфологии. Никакого различия: одна и та же красота играет на лицах мужчин и женщин, так или иначе, безобразных здесь нет, потому что на всех лицах проступают контуры того же рисунка. Рядом с этой западная красота с ее индивидуализацией согласно гибридными моделями кажется крайне заурядной. Игра морфологических означающих расы уверенно берет верх над эстетическими ценностями — означаемым нашей культуры.

Церемониальная красота — это не красота субъекта, так же как игровая интенсивность — это не интенсивность аффекта или желания. Церемониальная игра разрушается в равной степени как моральным законом, так и желанием.

Сегодня моральный закон мы ставим выше знаков. Игра условных форм считается коварной и имморальной: мы противопоставляем ей «вежливость

[politesse] сердца» и даже радикальную невежливость желания. Мы верим в обмен и в искренность обмена, в естественность истины чувств и эмоций. Мы верим в истину, скрытую в соотношении сил, знаки которого являются экспрессивной надстройкой, всегда подозреваемой в отвлечении от реальности и мистификации сознания. Мы верим в сексуальную истину, скрытую в теле, которое является лишь поверхностью для ее дешифровки. Мы верим в примат спонтанной энергии или же глубины смысла (закон, вписанный в сердцах), предназначение которых — проложить путь через поверхностную перепутанность знаков. И мы готовы нарушить установленные коды, что бы с новой силой воссиял Закон и Истина.

На самом деле этикет [politesse] (и церемониал в целом) больше не является тем, чем он был раньше. Но именно потому, что мы хотим придать ему смысл, и мы приписываем ему назначение. Именно потому что произвольность правила мы хотим заменить необходимостью Закона, чтобы знаки этикета стали произвольным соглашением. Мы могли бы, должны были бы нагрузить моральным суждением даже правила шахматной игры. Ныне этикет, как и ритуал, потерял то значение, которое он имел в церемониальном порядке, который уже не является нашим порядком, у него больше нет функции смягчать первобытную грубость отношений, предотвращать угрозу и агрессивность (открытая ладонь как доказательство отсутствия оружия и т.д.). Как будто в обычной вежливости есть какая-то целесообразность: это наше лицемерие побуждает нас везде и всегда морализировать функцию обме-

на. *Но закон, вписанный на небесах, это вовсе не закон обмена*. Скорее это закон согласия [alliance], пакт об объединении и соблазнительной взаимосвязанности.

Соблазнительная взаимосвязанность — это то, что избегает смешения причины и следствия. Знаки здесь заключают между собой не соглашение об обмене, а пакт о согласии. Здесь царит не закон сигнификации, а лишь последовательность кажимостей. Таким образом небо со своими движущимися по кругу знаками является скорее ковчегом Завета, где созвездия следуют друг за другом, выстраиваются сами собой будто в церемониальном предопределении. Родиться под знаком — это вовсе не значит интерпретировать его или сигнифицировать в соответствии с его смыслом, это значит присоединиться к нему, заключить с ним альянс, признать за ним силу предопределения. Как и в случае со знаками этикета, здесь не стоит вопрос, верить в это или не верить, — ошибкой является всегда придавать смысл тому, что его не имеет. Судьба, как неотвратимое и повторяемое развертывание знаков и кажимостей, стала для нас неприемлемой и чуждой. Мы больше не желаем судьбы. Мы желаем истории. Тогда как церемониал был образом судьбы.

Речь идет не о восстановлении этикета как социальной функции. Если он сводится лишь к этому, то становится действительно смешным и абсурдным, так же как возрождение йоги в виде психодиетической дисциплины или же реутилизация военных искусств в хореографии Бежара[127]. Права человека, его побуждения, свобода их выражения, свобода

слова положили конец этому ненужному церемониалу и коварству знаков. Браво!

Однако этот разгул истины, это торжество искренности во всех ее проявлениях также положил конец иллюзии, силе иллюзии. Иллюзии в буквальном смысле — как приобщению [initiation] к правилу, к высшему соглашению, которое предусматривает иную ставку, чем ставка на реальное. Игра основывается на этой возможности всякой системы выходить за пределы собственного принципа реальности и преломляться в иной логике. В этом секрет иллюзии, и, по сути, ставка делается всегда на спасение этого жизненного измерения. Так было и с тем иллюзионистом XVIII века, который изобрел настолько совершенный автомат, имитирующий человеческие движения, что ему самому пришлось «автоматизироваться» на сцене, изображать механическое несовершенство, именно чтобы спасти игру, сохранить то минимальное различие, которое делало возможным форму иллюзии: если бы оба, иллюзионист и автомат, были одинаково безупречными, то развеялся бы весь соблазн.

Над спасением иллюзии, то есть того минимального различия, благодаря которому реальное играет со своей собственной реальностью, играет с исчезновением реального, усиливая его кажимость, над спасением этого иронического правила игры в течение веков работало все то, что мы называем искусством, театром, языком. В этом смысле, они сохранили в себе что-то от церемониала и ритуала с их насилием над реальным. Именно в искусстве сохранилось что-то от церемониальной и инициационной силы, хотя и в значительно ослабленном виде (и ко-

нечно же она не сохранилась в том, что мы называем сегодня церемониями: открытие памятников, вручение премий, Олимпийские игры и т.д.). Здесь сохранилась [conserver] стратегия кажимостей, то есть господство над появлением и исчезновением — в частности, жертвенное искусство исчезновения реального.

Разумеется, наша современная интерпретация игры идет в обратном направлении. Наше идеальное видение игры — это игра ребенка, *пайдейя*[128], как свободная спонтанность и стихийная креативность, как выражение чистой натуры еще до Закона и вытеснения. Инстинктивная [animal] игра в противоположность церемониальной игре. Но известно, что ни птица не поет, ни ребенок не играет ради своего удовольствия. Даже в самых «бурных» играх шарм повторяемости, ритуала, тщательного развертывания, изобретения правил, и согласие в их соблюдении — именно это составляет интенсивность и сингулярность детской игры. Например, скандирование *fort-da*[129] [прочь-тут] вполне может означать и заклинание отсутствия матери, но прежде всего это своего рода церемониал, овладение появлением и исчезновением. Предположение в этом фантазма положит конец оригинальности этой формы, потому что придаст ей смысл, а также положит конец и соблазну, присущему игре, которая и занимается лишь тем, что упорядочивает кажимости.

Тайна возникает из уничтожения причин и погребения целей в едином отлаженном порядке кажимостей: Правило Появлений и Исчезновений.

Таким образом, церемониалы были предназначены для того, чтобы упорядочивать появления

и исчезновения. То, что всегда завораживало людей — это двойное чудо появления вещей и их исчезновения. И то, что они всегда хотели сохранить, — владение этим процессом и его правилом. Процессом рождения и смерти, а также затмением звезд, восхищением страстей и перипетиями природного цикла. Только наша культура модерна капитулировала перед этой формой обязательства и отдала все под власть той бесформенной [informe] формы свободы, которая называется случаем, или же под власть индуктивно-дедуктивной формы связанности, которая называется необходимостью.

Сегодня, разыграв все как способ производства и исчерпав иллюзию, мы столкнулись со способом появления и исчезновения без какого-либо церемониального контроля [maîtrise]. Наша эпоха отказалась от престижа появления и исчезновения и одновременно от искусственности и жертвенности — единственное, что обеспечивало суверенность. Весь порядок производства направлен на то, чтобы сделать невозможным порядок появления вещей, чтобы помешать им возникать внезапно, еще до того, как они приобретают право и смысл, причину и цель. Возникать прежде, чем произойти. Тем не менее они все же возникают: под видом (или под маской) чистой кажимости. Эта чистая кажимость может приобрести вид даже банальности, и тогда она вновь станет судьбой, то есть способом одновременного появления и исчезновения.

Чтобы оправдать появление, сегодня мы все сводим к энергии производства, энергии импульса [pulsionnelle], — даже смерть мы сводим к влечению [pulsion] к смерти. Но поиск контроля [maîtrise] над

способом исчезновения является противоположностью влечению к смерти, он не имеет с ним ничего общего.

Фундаментальность судьбы заключается не в том, чтобы, как в это верят, существовать и сохраняться [survivre], а в том, чтобы появляться и исчезать. Лишь это нас соблазняет и завораживает. Лишь здесь существуют сцена и церемониал. Не стоит верить, будто случай ответствен за появление и исчезновение вещей, а наша задача в том, чтобы заставлять их оставаться и придавать им смысл. Случай вовсе неспособен привести к сцене, где вещи могли бы позволить себе роскошь исчезновения: случай способен привести лишь к статистическому истреблению. Случай вовсе не способен что-то явить: чтобы что-то действительно возникло, появилось в царстве кажимостей, нужен соблазн. Чтобы что-то действительно исчезло, разрешилось в своей кажимости, нужен церемониал метаморфозы.

Пекинская опера: весь китайский театр, либо в батальных, либо в любовных эпизодах, либо в игре символов и орифламм[130], является инсценировкой дуальной грациозности тел, жестов, голосов, движений, постоянным переплетением на минимальной дистанции раздвоения. Тела являются подвижными акробатическими зеркалами друг друга. Наряды, украшения, веера едва избегают друг друга в спиральном танце, даже предметы вооружения не соприкасаются друг с другом, они избегают друг друга, неистово очерчивая непреодолимое пустое пространство (мрачное пространство в эпизоде поединка, соблазнительное или батальное в любов-

ных или военных эпизодах, водное пространство в эпизоде с перевозчиком, где все пространство реки физически читается в парном волнообразном движении двух тел — перевозчика и девушки, — удаленных друг от друга длинной невидимой лодки, голоса и тела чередуются в дуальности, где отражается без участия чего-либо еще, кроме церемониального пространства их расположения вся опасность переправы). Ничто так не красиво, как эта ночная дуальность, где тела пытаются встретится друг с другом, но не встречаются, точно и неистово очерчивая пустое пространство темноты, делая осязаемыми мрак, который их разделяет, и соучастие, которое их объединяет, и возникает из обратимости каждого их жеста.

Все упорядоченно: грациозность, уклонение, приближение, удаление, противостояние, исступленное кружение тел, их внезапная недвижимость, ничто не оставлено разгулу или импровизации, все связано, но вовсе не смыслом, — кажимостями. Совершенство на сцене достигается тогда, когда обнаруживается эта изумительная подвижность, эта воздушная легкость, эта грациозность кажимостей, в которой тела связываются между собой безо всяких усилий. У животного — и прежде всего у животного — грациозность является суверенной связанностью движения и тела. В китайском театре она освобождает знаки от всякой весомости, благодаря чему они могут играть в безграничной подвижности и даже достигать кульминации в абсолютной неподвижности, когда пространство застывает в беспомощности, на вершине переплетения двух дуальных сил.

Бои разыгрываются не как столкновения и не как соотношение сил, а как стратагемы, то есть агонистические иллюстрации хитрости, не-прямого насилия, параллельной и подвижной стратегии. Каждое тело раздваивает движение другого, выступает как ложная цель, где другой, в ошеломлении, не находит ничего, кроме пустоты. Каждый побеждает благодаря кажимости, отсылая другому кажимость своей силы. Но каждый знает, что победа не окончательна, потому что ту мертвую точку, вокруг которой движется бой, *никто никогда не займет*. Стремление ее занять, стремление занять пустое место стратагемы (так же как стремление присвоить пустую суть истины) — это безумие, это абсолютное непонимание мира как игры и церемонии.

Тем не менее именно это и делает наш западный театр, когда он подменяет всегда дуальную обратимость тел и жестов на спекулятивное зеркало психологии. Тела и знаки в нем сталкиваются, потому что они потеряли свою церемониальную ауру (Беньямин). Различие ощущается даже в перемещении толп и масс: если в западном пространстве метро, города, рынка люди сталкиваются друг с другом, борются за пространство или, в лучшем случае, избегают траектории другого в агрессивной скученности, то толпа на Востоке или на арабском рынке знает как перемещаться иначе, она передвигается с уважительным предчувствием (или предупредительностью), даже в ограниченном пространстве выбирая те промежутки, о которых говорил еще мясник *Чжуан-цзы*, промежутки, где безо всяких усилий проходило лезвие его ножа[131]. И речь идет не о границах между телами, которые мы ста-

раемся обозначать «свободными» зонами или личным пространством, это следствие церемониального пространства, пространства сакрального распределения, которое также упорядочивает появление тел друг относительно друга. Церемониал — это тактильный мир жестикуляционной упорядоченности и кажимости, созданный для того, чтобы держать тела на надлежащей дистанции и чтобы делать ощутимой эту дистанцию. Два тела, которые сталкиваются, задевают друг друга, обсценны и непристойны. Любые две вещи, будь то два слова или два знака, которые входят между собой в прямой контакт, спариваются безо всяких церемоний, непристойны. Их скученность — это скученность трупов на земле и экскрементов между ними. Нужно размежевание, иначе мир становится жалок [misérable], а насилие совершенно бесполезным: насилием беспорядка.

Этому служит украшение — не мода со своей *различительной* системой, а украшение со своей силой *размежевания* с «природой». Мода является формой высвобождения тел и нарядов в комбинаторной и все более и более алеаторной игре. Украшение является необходимым и неизменным обязательным требованием церемониала. Оно является частью тактильного, имманентного, инициационного мира церемониала. (У зверей оно является даже частью генотипа, поэтому они и были для людей моделями, и принадлежит к церемониальному порядку, а отнюдь не к «естественному».) Мода принадлежит к современному, трансцендентному, подвижному, экзотерическому миру взгляда и репрезентации. Она зависит от прихотливого желания

форм, эстетического и политического стремления к различию — знаки моды также отличительные знаки, они действуют в соответствии с *универсальным* кодом моды и вовлечены в концерт модерной субъективности, противостоящей архаичной, вневременной, размежевательной строгости украшения. (Мода, конечно, может приобретать форму коллективного заклинания, но это вовсе не жертвенный акт группы, как в церемониале. Даже бесконечно меняющаяся и разнообразная, она, по сути, является результатом процесса неразличения и скученности всех возможных форм.) Те же формы, которые были церемониальными, перешли в разряд моды, но тем не менее не следует их путать.

Никакого смешения, никакой скученности! В теории, так же как и в церемониале. Роль церемониала, как и любого ритуала, конечно же не в том, чтобы предотвращать «первобытную грубость [насилие]» (литургия вовсе не катарсис!) — это конрсмысл, столь же старый, как функционализм, нелепость всех идеализаторов основного насилия[132], наивное религиозное искусство [saint-sulpiciens] антропологии, — так же как роль теории не в том, чтобы диалектизировать и универсализировать понятия [concepts], наоборот: и теория, и церемониал насильственны. Их назначение в том, чтобы препятствовать вещам или понятиям беспорядочно контактировать, чтобы проводить размежевание, восстанавливать пустоты, заново разъединять то, что было смешано. Бороться с живородной обсценностью смешения понятий. Бороться с беспорядочной скученностью концептов. Вот что такое

радикальная теория, и то же самое делал церемониал, отделяя инициационное от того, что таковым не является, — ведь он всегда инициационен, — то, что сочетается согласно правилу, и то, что этого не делает, — ведь он всегда распорядителен, — то, что пробуждается и то что угасает согласно самой своей кажимости, и то, что происходит согласно своему смыслу, — ведь он всегда жертвенен.

Когда знаки свидетельствуют уже не о судьбе, а лишь об истории, они больше не церемониальны. Когда за ними стоят социология, семиотика, психоанализ, они больше не ритуальны. Они теряют ту силу метаморфозы, которая присуща акту церемониала. Они становятся ближе к истине, но они теряют силу иллюзии. Они становятся ближе к реальному, к нашей сцене реального, но они теряют свой театр жестокости.

К ПРИНЦИПУ ЗЛА

Существуют ли эти фатальные стратегии? Кажется, не сумел я ни очертить их, ни даже коснуться, да и сама эта гипотеза представляется скорее мечтой, настолько сила реального превосходит воображение. С чего вы взяли, что рассказываете об объекте? Объективность — это противоположность фатальности. Объект реален, а реальное подчиняется законам, и точка.

То есть против бредовости мира существует лишь ультиматум реализма. Это значит, что, если вы хотите избежать безумия мира, вы должны пожертвовать также и всем его шармом. Увеличивая свою бредовость, мир увеличивает и размер жертвы. Шантаж реален. Сегодня для выживания иллюзия уже не годится, она разрушается, приближаясь к недействительности [nullité] реального.

Пожалуй, существует лишь одна единственная фатальная стратегия: теория. И нет сомнения, что единственным различием между банальной и фатальной теориями является то, что в одной субъект по-прежнему считается коварнее, чем объект, а в другой предполагается, что объект всегда коварнее, циничнее, гениальнее, чем субъект, которого он иронически подстерегает за поворотом. Метаморфозы, хитрости, стратегии объекта непостижимы для субъекта. Объект не является ни двойником, ни

вытесненным субъекта, ни его фантазмом, ни его галлюцинацией, ни его зеркалом, ни его отражением, но у него есть своя собственная стратегия, он является хранителем правила игры, которая непостижима для субъекта, и не потому, что глубоко таинственна, а потому, что бесконечно иронична.

Именно объективная ирония и подстерегает нас, ирония осуществления объекта вне зависимости от субъекта и от его отчуждения. В фазе отчуждения торжествует именно субъективная ирония, именно субъект бросает неразрешимый вызов слепому миру, который его окружает. Субъективная ирония, ироническая субъективность — гордость мира запрета, Закона и желания. Сила субъекта проистекает из его обещания осуществления, тогда как сфера объекта — это порядок того, что уже осуществлено, того, что по этой самой причине нельзя избежать.

Мы путаем фатальное с повторным возникновением вытесненного (того, чего мы не можем избежать, так как это — желание), но порядок фатального является антитезой вытеснения. То, чего невозможно избежать, это не желание, а ироническое присутствие объекта, его безразличия и его безразличных связей, его вызова, его соблазна, его непокорности символическому порядку (а следовательно, и бессознательному субъекта, если оно вообще есть), — словом, принципа Зла.

Объект не подчиняется нашей метафизике, которая всегда стремится выделять [distiller] Добро и отсеивать [filtrer] Зло. Объект проницаем для Зла. Поэтому он коварно, по-дьявольски выказывает свое добровольное рабство и охотно, как и природа, подчиняется любому закону, который ему навязывают,

но при этом не подчиняется всей совокупности законов. И когда я говорю об объекте и его глубокой двуличности, то говорю о всех нас и о нашем социальном и политическом порядке. Вся проблема добровольного рабства в том, чтобы пересмотреть его в этом смысле, и не для того, чтобы разрешить, а чтобы постичь его загадку: повиновение — на самом деле банальная стратегия, которая не должна быть объяснена, поскольку она тайно содержит — любое повиновение тайно содержит в себе — фатальное неповиновение символическому порядку.

В этом и заключается принцип Зла не как мистической инстанции и трансцендентности, а как сокрытия символического порядка, похищения, изнасилования, присвоения и иронической растраты символического порядка. Объект проницаем для принципа Зла, потому что, в отличие от субъекта, является плохим проводником символического порядка и, наоборот, хорошим проводником фатальности, то есть чистой, суверенной и непримиримой, имманентной и загадочной объективности.

В конце концов, интересно не Зло, а спираль ухудшения. Ведь в своем злосчастье, в своем зеркале субъект прекрасно отражает принцип Зла, но объект хочет быть хуже и требует худшего. Он демонстрирует более радикальный негативизм, ведь если все, в конечном счете, не подчиняется символическому порядку, то это значит, что все было совращено изначально.

Еще прежде чем он был создан, мир уже был соблазнен. Странная прецессия, которая до сих пор довлеет надо всей реальностью. Мир был обесчещен изначально, поэтому невозможно, чтобы он

когда-либо смог оправдаться. Исторический, или субъективный, негативизм ни при чем — поистине дьявольским, даже по мысли, является лишь изначальное совращение.

Утопии о Страшном суде, дополненной утопией первоначального крещения, противостоит головокружение симуляции, дьявольский восторг от эксцентричности начала и конца.

Вот почему боги могут жить и скрываться лишь в нечеловеческом, в предметах и животных, в сфере молчания и объектной брутализации[133], а не в человеческой сфере языка и субъектной брутализации. Бог-человек — это абсурд. Бог, который сбрасывает ироническую личину нечеловеческого, выпадает из бестиальной метафоры, объектной метаморфозы, где он в молчании олицетворял принцип Зла, чтобы приобрести душу и облик, а заодно приобретает и коварную человеческую психологию.

Следует уважать нечеловеческое. Как это делали некоторые культуры, которые называют фаталистическими, чтобы осудить без лишних слов, ведь свои заповеди они находили в нечеловеческом, получали их от небесных светил или бога-животного, от созвездий или божества без образа. Грандиозное решение — это божество без образа. Нечто совершенно противоположное нашему модерному и технологичному иконопоклонению.

Метафизика позволяет проникать [filtrer] лишь доброму излучению, она хочет сделать из мира зеркало субъекта (самого уже прошедшего через стадию зеркала), мир форм, отделенных от своих двойников, от своей тени, от своего образа: это и есть принцип Добра. Тогда как объект — это всегда фетиш,

подделка, *feiticho*, пустышка, обманка, все то, что воплощает в себе отвратительную помесь вещи с ее магическим и искусственным двойником, и то, что никакая религия транспарентности и зеркала никогда не сможет разрешить: это и есть принцип Зла.

Когда я говорю об объекте и его фатальных стратегиях, то говорю также о людях и об их нечеловеческих стратегиях. К примеру, люди в отпуске могут находить еще большую скуку, чем повседневно, — удвоенную скуку, потому что она состоит из всех элементов счастья и отвлечения. Важным моментом является предопределенность отпуска к скуке, горькое и торжествующее предчувствие того, что от нее не уйти. Почему мы думаем, что люди будут отказываться от своей повседневности, ища ей альтернативу? Напротив, они сделают из нее судьбу: удвоят в кажимости противоположного, углубятся в нее вплоть до экстаза, укрепят монотонность еще большей монотонностью. Сверхбанальность — эквивалент фатальности.

Не понимая этого, невозможно понять этой коллективной брутализации, а ведь она является грандиозным актом (само)превышения. Это не шутка: люди хотят не развлечения, а фатального отвлечения. Важна не скука, важным является прирост скуки; прирост — это избавление, это экстаз. Это может быть экстатическое углубление чего угодно. Это может быть приростом угнетения или унижения, разыгрывающийся как освободительный экстаз унижения — так же как абсолютный товар разыгрывается как освободительная форма товара. Это единственное решение проблемы «добровольного рабства», и освобождение возможно лишь через

углубление негативного состояния [conditions]. Все формы, которые стремятся к тому, чтобы воссияла чудодейственная свобода, лишь революционные проповеди [homélies]. По сути, освободительная логика понятна лишь немногим, а в основном преобладает именно фатальная логика.

Еще одна форма принципиального цинизма — это желание зрелища и иллюзии, которое противостоит всякому стремлению к знанию и воле к власти. Крайне живучее в человеческих сердцах, оно неотступно преследует и событийные процессы. Нечто вроде влечения к грубому событию, объективной информации, самым сокровенным фактам и мыслям, которые должны быть заменены зрелищем, испытать экстаз на сцене, вместо того чтобы, в буквальном смысле, произойти. Если инстанцирование[134] необходимо, то экстазирование абсолютно жизненно необходимо.

Вещи происходят лишь в этом чрезмерном измерении, то есть не в рамках своей репрезентации, а в магии своего эффекта — лишь тогда они предстают гениальными и позволяют себе роскошь существования. Природу называют безразличной, и она, конечно, безразлична к человеческим начинаниям и страстям, но, возможно, она не прочь привлечения к себе всеобщего внимания в стихийных бедствиях. Это, конечно, иносказание (?), но означает оно ту страсть над страстями, симулятивную страсть, соблазнительную страсть, страсть искажения, которая приводит к тому, что вещи имеют смысл лишь тогда, когда преображены этой иллюзией, этой насмешкой, этой инсценировкой, которая является не просто репрезентацией, а ее ошеломляющей и эксцен-

тричной формой, стремлением презреть их причины и исчерпаться в их последствиях, и особенно в последствиях их исчезновения. Ошеломляющая форма, которую во все времена строго осуждали моралисты, ведь именно в ней вещи цинично отвращаются от своего начала и от своего конца, что является отголоском изначального совращения.

Впрочем, именно эта эксцентричность защищает нас от реального и его катастрофических последствий. Пусть вещи исчерпываются в своем зрелище, в своей магической и искусственной фетишизации, — именно с этим искажением всегда будут биться почтенные умы — в утопическом стремлении исправления мира, чтобы он предстал правильным, невредимым и аутентичным в день Страшного суда, — и, возможно, это еще наименьшее зло. Ведь Бог знает, куда ведет разгул смысла, когда он отказывается представлять себя в виде кажимости.

Даже революция возможна лишь тогда, когда возможно ее зрелище: доброхоты сетуют на то, что массмедиа кладут конец реальному событию. Но если рассматривать ядерную угрозу, то, вполне возможно, ее дистилляция в повседневной симулированной панике, в навязчивом и спектакулярном трепете, которыми медиа питают наш страх, — возможно, именно это и ограждает нас от ядерного столкновения, а не равновесие страха (сдерживание не дает никаких стратегических гарантий, как, собственно, и инстинкт самосохранения вида). Нас защищает то, что в ядерном столкновении событие рискует потерять всякие шансы на зрелище. *Именно поэтому его и не будет*. Ведь человечество может смириться с физическим исчезновением, но ни

за что не согласится пожертвовать зрелищем (если, конечно, не сумеет найти зрителя в другом мире). Влечение к зрелищу сильнее, чем инстинкт самосохранения, — на это и стоит рассчитывать.*

Если мораль вещей заключается в их неприкосновенной [sacro-saint] потребительной стоимости, то да здравствует аморальность атома и ядерного оружия, которая даже их заставляет подчиниться конечному и циничному зрелищу! Да здравствует скрытое правило игры, которое заставляет всякую вещь не подчиняться символическому закону! То, что спасет нас, это не рациональный принцип, не потребительная стоимость, а имморальный принцип зрелища, иронический принцип Зла.

Растворение в этом повторном эффекте является чем-то вроде страсти, желания фатального. Так же и никакая жизнь немыслима без повторного наступления. Целенаправленность жизни может быть задана лишь твердой уверенностью в неизбежном возвращении, которое произойдет рано или поздно, как воскрешение тел, — но без Страшного суда, — воскрешение некоторых моментов или некоторых лиц однажды появившиеся. А они возвратятся, ведь они исчезли лишь с горизонта вашей жизни, чья траектория, которая отклонилась именно благодаря этим событиям, бессознательно изменяется чтобы дать им шанс на повторное существование или на окончательное возвращение. Только тогда они дей-

* Конечно, речь идет не о том зрелище [spectacle], которое развенчали ситуационисты как крайнюю степень отчуждения и конечную стратегию капитала. Это скорее противоположное явление, потому что здесь мы имеем дело с торжествующей стратегией объекта, это его способ отвлекать, а не отвлекаться. Это гораздо ближе к феерии товара у Бодлера.

ствительно произойдут. Только тогда они будут получены или потеряны.

С определенного момента эти повторные события образовывают саму ткань жизни, где уже больше нет места случаю. Случайно происходит только первое событие, которое само по себе не имеет смысла и банально теряется во тьме пережитого. Лишь его повторение делает из него настоящее событие, придавая ему характер фатального наступления. Словно знак зодиака, который имеет значение лишь в асценденте[135], — знак сам по себе безразличен, но благодаря повторению он становится неизбежным.

Если определенные события жизни получают второй шанс, когда цикл единственный раз возвращает их назад, то эта жизнь заканчивается. Если жизнь не испытала никакого второго наступления такого порядка, то она заканчивается прежде чем начаться.

Фатальное где-то рядом. В этом смысле древние ереси были правы. Каждый имеет право на второе, истинное рождение, и каждому не велением звезд, а внутренним предопределением, присущим нашей собственной жизни, суждено неизбежное возвращение таких событий. Вот почему, когда случай был упразднен, Страшный суд оказался не нужен.

Вот почему теория предопределения бесконечно превосходит теорию свободы души. Ведь если она устраняет из жизни все, что не предопределено и не предрешено, все, что случайно, потому что произошло только один раз, в то время как то, что происходит во второй раз становится фатальным, то она придает жизни интенсивность этих повторных собы-

тий, которые имеют как бы глубину предшествующей жизни.

Нет ни формы, ни значения [signification] первой встречи, всегда окрашенной неведением и банальностью. Фатальность приходит только потом, благодаря актуальному действию этой предшествующей жизни. И в данном обстоятельстве есть нечто вроде воли и энергии, о которых никто не знает ничего и которые вовсе не являются восстановлением скрытого порядка. Именно в полной ясности определенные вещи происходят в определенный им срок.

Если бы светила всходили и заходили в произвольном порядке, то само небо не имело бы смысла. Повторяемость их траекторий составляет событие в небе. А повторяемость определенных фатальных перипетий составляет событие в жизни.

В соответствии со всем этим, если объект гениален, если объект фатален, то что можно сделать с этим?

Позади искусства сохранения — ироническое искусство исчезновения? Субъект всегда мечтал о последнем, это обратная мечта относительно его мечты о подытоживании [totalisation], и первая вовсе не затмила второй, совсем наоборот. Ее крах пробуждает сегодня гораздо более изощренные страсти.

Значит, в самом сердце банальных стратегий пульсирует желание фатальных стратегий?

Ничто не может оградить нас от фатальности, тем более от стратегии. Впрочем, сочетание этих двух слов парадоксально: разве может быть фатальность, если есть стратегия? Но загадка именно в том, что фатальность присутствует в основе всякой стратегии, в том, что просматривается от фа-

тальной стратегии в самом сердце банальных стратегий, это — объект, который избрал за свою стратегию фатальность — что-то вроде правил другой игры. По сути, объект издевается над законами, которые ему предписывают, он соглашается фигурировать в расчетах как саркастическая переменная и позволяет уравнениям проверяться, но правила игры, условия, на которых он согласен играть, не знает никто, и меняться они могут мгновенно.

Никто не знает, что это за стратегия. В мире нет таких средств, чтобы можно было распоряжаться целями [fins]. А значит, никто не в состоянии артикулировать конечный процесс. Сам Бог вынужден идти окольными путями. Важно то, что просматривается в неумолимой логике процесса, согласно которой объект вступает именно в ту игру, в которую его хотят заставить играть, и, удваивая ставку, в определенном смысле перебивает цену стратегических правил, которые ему навязывают, вводя таким образом стратегию, которая не имеет собственных конечных целей [finalités], — «игровую» стратегию, которая расстраивает стратегию субъекта, фатальную для субъекта стратегию, потому что он уступает переопределению своих собственных целей.

Мы причастны к этому избытку финальности, которая присутствует в объекте (это может быть избыток смысла, а значит, и невозможность дешифровки слова, которое прекрасно изображает из себя знак). Мы ищем всевозможные стратегии, в надежде увидеть, как они разрешаются в неожиданном событии. Мы ищем реальное, в надежде увидеть, как оно разрешается в небывалой искусственности. От каждого объекта мы надеемся получить слепой ответ, ко-

торый нарушит наши прожекты. От стратегии мы ожидаем контроля [maîtrise], но от соблазна мы ожидаем неожиданности [surprise].

Соблазн фатален, именно как эффект суверенного объекта, который воссоздает в вас первоначальное возмущение и пытается вас удивить, — в свою очередь, фатальность соблазнительна, именно как открытие скрытого правила игры. Открытие правила игры ослепительно и заранее компенсирует самые тяжелые потери.

Так же и с остротой. Выискивая в языке фатальную связанность, мы наталкиваемся на остроту, которая сама по себе является развязкой языка, уже присутствующей в языке (и именно это является фатальным: один и тот же знак управляет кристаллизацией жизни и ее распадом [solution], завязкой и развязкой события). Ирония (*Witz*), становясь в языке чистым объектом, является объективной формой этой развязки. Как и в *Witz*, так и повсюду, удвоение и эскалация является остроумной формой развязки.

Все должно развязаться фатальным и остроумным образом, так же как все и перепуталось в начале, в изначальном совращении.

Даже предопределение является формой иронического извращения финальности. Но и случай тоже является ею. Зачем же делать из случайности объективный процесс, если это процесс иронический? Конечно, случайность существует, но, вопреки всякой научности, как ирония алеаторности, в том числе и на уровне молекул. И конечно же фатальность тоже существует, причем одновременно со случайностью, — в этом нет никакого парадокса. Разница в том, что ирония фатальности сильнее, чем ирония

случайности, что делает ее более трагичной и соблазнительней.

Правда, здесь имеется неясный и затруднительный момент: перейти на сторону объекта, встать на его сторону. Отыскать иное правило, другую аксиоматику: в этом нет ничего мистического, никакого потустороннего бреда попавшей в ловушку субъективности, и рвущейся вон, в пароксизмальной дескрипции. Нужно просто очертить эту иную логику, развить эти иные стратегии, предоставить полную свободу объективной иронии. Это также вызов, возможно абсурдный и подвергающий риску того, кто все это описывает, но надо испытать этот риск: гипотеза о фатальных стратегиях может быть лишь также фатальной.

Если существует мораль, то она также вовлечена в эксцентричный цикл своих эффектов, она и сама гиперморальна, как реальное гиперреально. Это уже не моральный застой [stase] — это моральный экстаз [extase]. Она сама по себе спецэффект.

Леви-Стросс говорил, что символический порядок покинул нас в пользу истории. Сегодня, говорит Канетти, и сама история оказалась не у дел. Так что же еще остается нам, кроме как перейти на сторону объекта, с его эксцентричным и вычурными эффектами, с его фатальным последствиям [effets] (фатальность является лишь абсолютной свободой эффектов). Знакоизлияние [Sémiorrhagie].

Сегодня, когда всякая критическая радикальность стала ненужной [inutile], когда всякая негативность разрешена в мире, который представляется полностью осуществленным, когда критический ум [esprit] нашел свое временное прибежище в социа-

лизме, когда эффекты желания в основном исчерпаны, что же еще остается, кроме как возвращать вещи к загадочной нулевой точке? Ведь и загадка обратилась вспять: когда-то Сфинкс задавал человеку вопрос о человеке, который Эдип, как он считал, разгадал, и мы все считали, что разгадали; сегодня именно человек задает вопрос Сфинксу — нечеловеку — о нечеловеческом, о фатальном, о безразличии мира по отношению к нашим начинаниям, о бесцеремонности мира к объективным законам. Объект (Сфинкс) более проницателен, поэтому не дает ответа. Но должно быть, не подчиняясь законам, ускользая от желания, он тайно отвечает на какую-то загадку. И что же нам еще остается, кроме как перейти на сторону этой загадки?

В конечном счете все сводится к следующему: предположим, только на мгновение, гипотезу о том, что в порядке вещей существует предрешение, фатальное и загадочное.

Как бы там ни было, есть что-то нелепое [stupide] в нашем нынешнем положении. Есть что-то нелепое в грубом событии, в котором, если уж она существует, не может ощущаться судьба. Есть что-то нелепое в нынешних формах истины и объективности, от которых превосходство иронии не может нас спасти. Все искупается в том или ином смысле. Все происходит тем или иным образом. Истина лишь все усложняет.

И если Страшный суд, как всем известно, заключается для каждого из нас в сохранении и затягивании до бесконечности мига нашей жизни, и только одного, то с кем разделить этот иронический финал?

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Пролиферация — разрастание ткани организма путем размножения клеток делением.

[2] Обсценный, обсценность — в текстах Бодрийяра это слово означает не только «непристойный» или «неприличный»: он обыгрывает в этом термине еще и слово «сцена», то есть отсутствие сцены, неуместность, неприсценность.

[3] Имманентность (пребывание внутри) — понятие, обозначающее свойство, внутренне присущее предмету, процессу или явлению; то, что пребывает в самом себе, не переходя в нечто иное. Противоположное понятие — трансцендентность.

[4] Финальность — законченность, окончательность, конечная цель. Противоположность бесконечности.

[5] Кажимость (видимость) — то, что показывает себя, не скрывая сущность, а проявляя ее; также: поверхностное, неустойчивое, случайное проявление реальности. Бодрийяр не делает четкого различия между такими понятиями, как видимость, кажимость и даже явление, обозначая все словом *apparence*. Но, в отличие от Сартра, не снимает дуализм видимости и сущности («Видимость не скрывает сущность, она ее проявляет; она и есть самая сущность», «Бытие и ничто»). Apparence у Бодрийяра ближе к кажимости Хайдеггера: «Сущее может казать себя из себя самого разным образом, смотря по способу подхода к нему. Существует даже возможность, что сущее кажет себя как то, что оно в самом себе не есть. Показывая себя таким образом, сущее „выглядит так, словно...“. Такое казание себя мы называем кажимостью... Сущее не полностью потаенно, но именно открыто, однако вместе

с тем искажено; оно кажет себя — но в модусе кажимости». Однако Бодрийяр употребляет термин не только философском смысле (то, что кажет себя), но и в обычном (то, что кажется, видится), в зависимости от контекста. Так же у Бодрийяра этот термин приобретает дополнительный смысл — как, своего рода, положительная альтернатива симулякру.

[6] Инертность, инерция — и то и другое Бодрийяр обозначает одним словом *inertie*.

[7] Дефиниция (определение) — краткое высказывание, относящее какой-либо объект к какой-либо категории и описывающее важнейшие отличительные признаки этого объекта.

[8] Суперлатив — превосходная степень, слово высшей, как положительной, так и отрицательной, оценки чего-либо.

[9] Фатальный — в русском языке, так же, как и во французском, слово «фатальный» ассоциируется в первую очередь с фатумом, то есть судьбой, участью, роком, может быть и злым роком и лишь в последнюю — с фатальным, то есть смертельным исходом.

[10] Дорваль, Мари (1798—1849) — великая французская актриса.

[11] Кайуа, Роже (1913—1978) — французский писатель, философ, социолог. Здесь и далее Бодрийяр ссылается на его книгу «Игры и люди» (1958).

[12] Алеаторный — у Бодрийяра вовсе не точный аналог слова «случайный», а именно «жеребьевочный», некий игровой момент, как в спортивных и прочих играх.

[13] Дюшан, Марсель (1887—1968) — французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Творческое наследие относительно невелико, однако благодаря оригинальности своих идей Дюшан считается одной из самых влиятельных фигур в искусстве XX века.

[14] Фасцинация — хотя термин давно присутствует в русском языке, его стремятся перевести как «очарова-

ние», «обворожительность», «завороженность». Последний вариант наиболее точен, но Бодрийяр употребляет термин еще шире — как гипноз, ослепление, даже зомбирование.

[15] Инвертировать — переводить в противоположное состояние; обращать.

[16] Детерминация — определение, определенность, причинная обусловленность явлений и процессов. Детерминизм — учение о взаимосвязи и взаимообусловленности происходящих процессов и явлений, доктрина о всеобщей причинности.

[17] Референция — соотнесение знака с объектами внеязыковой действительности, реального мира — референтами. В тексте встречается много производных данных слов.

[18] Гипертелия (сверх окончания) — Бодрийяр употребляет слово в прямом смысле: то, что идет дальше, чем его собственный финал.

[19] Сигнификация — создание и употребление знаков, придание им определенных значений и смыслов.

[20] Канетти, Элиас (1905-1994) — австрийский, болгарский, британский писатель, драматург, культуролог, социальный мыслитель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1981). Здесь и далее Бодрийяр цитирует отрывки из его книги «Провинция человека» (1973).

[21] Патафизика — точного определения термина не существует. В самых общих чертах патафизика — наука, посвященная изучению того, что лежит за пределами области метафизики. Название происходит от профессии главного героя романа Альфреда Жарри (1873—1907) «Деяния и мнения доктора Фаустролля, патафизика». Существует Коллеж патафизики — интернациональное сообщество писателей, переводчиков, историков словесности, художников, музыкантов, режиссеров театра и кино, созданное в 1948 году в Париже как пародия на научное общество со своими секциями, комиссиями, подкомиссиями, церемониями приема, корпоративными торжествами и т. д. Бодрийяр был членом этого колледжа.

[22] Вирильо, Поль — французский философ, социальный теоретик, специалист по урбанистике и архитектурный критик.

[23] Саспенс — (неопределенность, приостановка; от лат. suspendere — подвешивать) — состояние тревожного ожидания, напряжения, беспокойства. Также — подвешенное состояние.

[24] Инволюция (свертывание, сворачивание, завиток) — обратное развитие, переход к прежнему состоянию.

[25] Импутация — процесс замены пропущенных, некорректных или несостоятельных значений другими значениями.

[26] Абсолютно черное тело — физическое тело, которое при любой температуре поглощает все падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах.

[27] Эксплозия — взрыв, расширение, распространение, экспансия; имплозия — взрыв, направленный внутрь, быстрое разрушение под влиянием внутренних факторов, схлопывание, сжатие.

[28] Black-out — массовое отключение электричества.

[29] Tower Inferno «Ад в поднебесье» — фильма-катастрофа 1974 года.

[30] Earth Quake «Землетрясение»- фильма-катастрофа 1974 года.

[31] Интерстициальный (междоузлие) — промежуточный, находящийся между.

[32] Виртуальное — наиболее распространенное значение: то, что не существует в действительности, но появляется благодаря программному обеспечению. Однако это слово многозначно, и обозначает так же «возможное», «потенциальное», «условное», «мнимое», что Бодрийяр постоянно и обыгрывает.

[33] Йенсен, Йоханнес Вильгельм (1873—1950) — датский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1944).

[34] Градива — античный барельеф шагающей женщины, в который влюбился герой новеллы Йенсена, а затем в Помпеях встретил эту девушку своей мечты. Впоследствии Фрейд истолковал одержимость героя его вытесненным фетишизмом, который, в свою очередь, восходит к «детским эротическим впечатлениям» автора книги, и сам повесил копию барельефа в своем кабинете.

[35] Первичная сцена — вспоминаемая или воображаемая сцена из детства, относящаяся к некоторому раннему сексуальному опыту, чаще всего о половом акте своих родителей.

[36] Транспарентность (прозрачность, проницаемость) — отсутствие секретности, ясность, основанная на доступности информации; информационная прозрачность.

[37] Аномия (отсутствие закона) — нравственно-психическое состояние индивидуального и общественного сознания, характеризующееся разложением системы ценностей и этических норм. Термин введен социологом Э. Дюркгеймом.

[38] Субверсия — этот термин Бодрийяр употребляет несколько шире, чем просто подрывная деятельность: не только в военном, но и политическом и идеологическом смыслах. В некоторых случаях как подрыв устоев, ниспровержение.

[39] Конформность — склонность к конформизму, к изменению своих взглядов и позиций вслед за теми, которые преобладают в данном обществе, группе или просто значимых окружающих.

[40] Алиментарное ожирение — это пищевое или первичное ожирение.

[41] Папаша Убю — персонаж гротескно-комического фарса Альфреда Жарри «Король Убю» (1896).

[42] Инвестирование — у Бодрийяра просто вложение, вкладывание, вписывание.

[43] Оральная регрессия — в психоанализе тенденция возвращаться на оральную стадию психосексуального развития.

[44] Эксгибиция — выставление напоказ.

[45] Репрезентация (представленность, представление) — воспроизведение виденного, слышанного, прочувствованного человеком с возможными изменениями представляемой информации.

[46] Батай, Жорж (1897—1962) — французский философ, поэт, прозаик, эссеист, экономист, мистик, во многом определивший пути развития французской мысли и словесности второй половины XX века. Ввел понятие «симулякр», «проклятая доля», «избыток».

[47] Баадер, Франц Ксавер фон (1765—1841) — немецкий философ и теолог, представитель философского романтизма.

[48] Антиципация — предвосхищение, предугадывание, представление о предметах или событиях, возникающее до их реального проявления.

[49] Экзотерический — внешний, открытый, профанический. Эзотерический — тайный, скрытый, понятный только посвященным.

[50] Трансдукция — слово одновременно означает и передачу генетического материала от одной бактерии другой, и передачу, трансформацию сигнала в электрических системах.

[51] Парии — одна из неприкасаемых каст в Индии. В европейских языках слово приобрело значение «отверженный», «бесправный».

[52] В 1977 году интернациональная команда террористов захватила самолет с немецкими туристами и угнала его в столицу Сомали, город Могадишо. В обмен на жизнь пассажиров боевики требовали освобождения лидеров РАФ (Фракция Красной Армии — немецкая леворадикальная террористическая организация).

[53] Спектакулярный (потрясающий, сенсационный) — перевод как «зрелищный» не всегда уместен, так как во французском слово очень многозначно: впечатляющий, драматичный, яркий, демонстративный, наглядный, показной, эффектный. Кроме того, у Бодрийяра прослеживается аллюзия слова с «обществом спектакля».

[54] Констелляция — в широком смысле это взаимное расположение и взаимодействие различных факторов, стечение обстоятельств.

[55] Дуальность — двойственность, у Бодрийяра приобретает еще значение дуэльности, поединка.

[56] Трансгрессия — нарушение, преступление, выход за пределы.

[57] Реторсия — правомерные принудительные действия государства в ответ на недружественный акт другого государства.

[58] Красные бригады — подпольная леворадикальная организация, действовавшая в Италии. В 1978 году второе поколение Красных бригад во главе с Марио Моретти похитили бывшего премьер-министра от Христианско-демократической партии Альдо Моро, который был убит ими через 54 дня. Его труп обнаружили в багажнике красного «рено», припаркованного в центре Рима, как раз на полпути между штаб-квартирами партий христианских демократов и коммунистов.

[59] Перверсия, перверсивный — Бодрийяр часто использует слово «извращение» без полового подтекста, просто как отклонение от нормы, искажение.

[60] Обобщенный обмен, в отличие от взаимного, предполагает наличие по меньшей мере трех сторон, при этом любой индивидуальный участник может не получать вознаграждение непосредственно от лица, которому он что-либо отдает. Понятие ввел французский этнограф, социолог и культуролог Клод Леви-Стросс.

[61] Сингулярность (единственный, особенный, уникальный) — в философии единичность существа, события, явления.

[62] Промискуитет — Бодрийяр употребляет это слово в значении скученность, теснота, шокирующая близость, тесное соседство, смешение и только в последнюю очередь как «половая распущенность».

[63] Анаморфоз — в искусстве вид оптической иллюзии, при котором инсталляция, скульптура или изображе-

ние на плоскости построены таким образом, что их полное зрительное восприятие возможно только с определенного ракурса.

[64] Модерность — Бодрийяр употребляет это словно не столько в значении «современность», сколько как противопоставление традиционности.

[65] Арто, Антонен (1896—1948) — французский писатель, поэт, драматург, актер театра и кино, художник, киносценарист, режиссер и теоретик театра, новатор театрального языка, посвятивший жизнь и творчество вопросу о новом обосновании искусства, его места в мире и права на существование. Арто разработал собственную театральную концепцию, называемую «театр жестокости». Основание системы Арто — отрицание театра в привычном понимании этого явления. Театра, удовлетворяющего традиционные запросы публики. Сверхзадача — обнаружить истинный смысл человеческого существования через разрушение случайных форм.

[66] Протей — в древнегреческой мифологии морское божество, сын Посейдона и Геры. Обладал способностями предсказания и мог принимать различные облики.

[67] Злой дух — устоявшийся перевод, во французском le malin génie может означать также и «злой гений», и «хитрый бес».

[68] Имеется в виду «Басня о пчелах, или Пороки частных лиц — блага для общества» (1714) — произведение английского писателя Бернарда де Мандевиля, где рассказывается как общество аморальных пчел, несмотря на пороки, процветало и как это самое общество чуть было не погибло после того, как пчелы стали моральными и добродетельными. Аллегория состоит в том, что общество, решившее ради бережливости расстаться с роскошью и сократить вооружения, ждет печальная участь. Несмотря на то что книга была запрещена, она во многом предвосхитила либерально-экономическую теорию.

[69] *Fallacy* — (ошибочность, заблуждение) логическая ошибка, связанная с нарушением логической правильности умозаключений. Ошибочность обусловлена каким-ли-

бо логическим недочетом в доказательстве, что делает доказательство в целом неверным. У Макиавелли описана как один из политических приемов.

[70] Игра слов: энергия бедных.

[71] Ривароль, Антуан (1753—1801) — французский писатель, известный своими максимами.

[72] П2 — итальянская масонская ложа, действовавшая с 1945 по 1976 год; с 1976 по 1981 год — как дикая ложа. П2 активно участвовала в политической жизни Италии, Аргентины, Уругвая, Бразилии. После приостановления масонской деятельности ложи ее члены обвинялись в терроризме и связях с мафией. П2 иногда называли государством в государстве или теневым правительством.

[73] Аллюзия с Командором из «Дон Жуана»

[74] Майские события 68-го года (Красный май) — социальный кризис во Франции, вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и всеобщую забастовку. Хотя все это и привело в конечном счете к смене правительства, но не привело к революции.

[75] Имеется в виду разгоны демонстраций и аресты.

[76] Нерваль, Жарри, Лотреамон — французские литераторы и новаторы XIX века, предтечи символизма, абсурдизма и сюрреализма соответственно.

[77] Игра слов: *filtre* — фильтр, *philtre* — приворотное зелье.

[78] Kuser — дословно: хитрят.

[79] Отсылка к Гегелю, а также игра слов: объективность — объектность.

[80] Игра слов: *spatial* — пространственный, космический и *special* — специальный, особый.

[81] Жак Сегела (р.1934) — французский специалист по рекламе, избирательным технологиям и политическим коммуникациям, соучредитель агентства RSCG.

[82] Деонтология (наука о должном) — раздел этики, в котором рассматриваются проблемы моральных требований, долга и должного.

[83] Ла Боэси, Этьен де (1530—1563) — французский писатель и философ, наиболее известная работа «Рассуждение о добровольном рабстве».

[84] Дезиллюзия — утрата иллюзий, разочарование.

[85] Браммел, Джордж (1778—1840) — английский денди, законодатель моды в эпоху Регентства.

[86] Vicarious — замещающие, «живущие чужой жизнью».

[87] Веблен, Торстейн Бунде (1857—1929) — американский экономист, социолог, публицист, футуролог, автор «Теории праздного класса».

[88] Игра слов: solution в переводе с французского означает «раствор» и «разрешение» (задачи, проблемы).

[89] Маркузе, Герберт (1898—1979) — немецкий и американский философ и социолог, представитель Франкфуртской школы.

[90] Аллюзия с циклом произведений И. С. Баха «Хорошо темперированный клавир».

[91] Интериоризация — (франц. *interiorisalion*, от лат. *interior* внутренний), переход извне внутрь. В психологии — формирование внутренних структур человеческой психики благодаря усвоению структур внешней социальной деятельности.

[92] Лакан, Жак (1901—1981) — французский философ и психиатр. Одна из самых влиятельных фигур в истории психоанализа.

[93] Спрос — (*demande*), многозначное слово. Спрос, потребность, просьба, запрос, заказ — Бодрийяр использует эту многозначность.

[94] И все-таки она вертится! — известное изречение, приписываемое Галилею.

[95] Депривация — сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности — психофизиологические либо социальные.

[96] «Проклятая доля» — важнейший образ философии Ж. Батая. «Батай, — отмечает С. Л. Фокин, — указывает на то, что принцип полезности не может быть единствен-

ным принципом в объяснении человеческого существования. Некая часть человеческого существования регулируется не исканием пользы, накопления, сохранения энергии (богатств), но прямо противоположным принципом непроизводительной траты. Необходимость траты... напрочь отвергается капиталистическим строем, в котором все поставлено на накопление и почти ничего — на трату. Доля человека, движимая соприродным ему наваждением траты, не просто отвергается моралью капитализма, она подвергается проклятью; это и есть „проклятая доля" современного человека».

[97] Интерцессия — ходатайственная молитва, в переносном смысле: все, о чем мечтали, ответ на все молитвы.

[98] Пари Паскаля — предложенный математиком и философом Блезом Паскалем аргумент для демонстрации рациональности религиозной веры.

[99] Агамбен, Джорджо (р.1942) — итальянский философ. Бодрийяр цитирует отрывки из его книги «Стансы. Слово и призрак в европейской культуре» (1977).

[100] Эпифания — в античности явление божества в человеческом или ином облике.

[101] Сартр, Жан-Поль (1905—1980) — французский философ, представитель атеистического экзистенциализма. Бодрийяр цитирует отрывок из его книги «Бытие и ничто» (1943).

[102] Маркс, Харпо (1988—1964) — американский актер, комик, участник комедийной труппы Братья Маркс. Эспадон — тип двуручного меча, а также рыба-меч.

[103] Феллини, Федерико (1920—1993) — итальянский кинорежиссер. Обладатель пяти премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви». Подразумевается его фильм «Город женщин» (1980).

[104] Феминитюд [féminitude] — феминистский термин, образованный по аналогии с негритюдом: концепция самобытности, самоценности и самодостаточности женского пола.

[105] Если убрать одну букву, то получится устойчивое словосочетание, означающее «серый кардинал» или «тайный советник».

[106] Кьеркегор, Серен (1813—1855) — датский религиозный философ и писатель. Цитата взята из его произведения «Дневник обольстителя» (1843).

[107] Ниже Бодрийяр анализирует реальный проект художника и фотографа Софи Калле (р. 1953) под названием «Suite vénitienne».

[108] Алле, Альфонс (1854—1905) — французский журналист, эксцентричный писатель и черный юморист, известный своим острым языком и мрачными абсурдистскими выходками, на четверть века предвосхитившими известные эпатажные выставки дадаистов и сюрреалистов. Его новеллу «Вполне парижская драма» анализировали многие исследователи, в том числе Умберто Эко.

[109] В оригинале — Тамплиера.

[110] *Witz* (нем. шутка, острота) — отсылка к работе Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному» (1905), которую Бодрийяр считал самой неудачной и даже вредной.

[111] Смерть в Самарканде — эту притчу Бодрийяр не раз повторяет в свих произведениях: Такова история про солдата, встретившего Смерть по пути с базара и вообразившего, будто та подала ему какой-то угрожающий знак. Он спешит во дворец и просит у царя лучшего коня, чтобы ночью бежать куда подальше, в далекий Самарканд. Затем царь призывает Смерть во дворец, чтобы упрекнуть за то, что она так перепугала одного из лучших его слуг. Но удивленная Смерть отвечает царю: «Я вовсе не хотела его напугать. Этот жест я сделала просто от неожиданности, увидев здесь солдата, ведь на завтра у нас с ним назначено свидание в Самарканде».

[112] Шнейдер, Моник (р. 1935) — французский психолог и психоаналитик. В книге «Зигмунд Фрейд и удовольствие» (1980) критикует фрейдизм с точки зрения феминизма.

[113] Sphinge — женщина-сфинкс. В отличие от бескрылого египетского Сфинкса, греческий обретает женский пол и крылья.

[114] Иокаста — в древнегреческой мифологии царица Фив, жена Лая и мать Эдипа, после гибели Лая — жена Эдипа.

[115] Трюизм — общеизвестная, избитая истина, банальность.

[116] Игра слов: падение жребия [coup de dés] — случай.

[117] Верде, Андре (1913—2004) — французский поэт, художник, скульптор и керамист.

[118] Акцидентальный — случайный, несущественный, второстепенный.

[119] Леви-Стросс, Клод (1908—2009) — французский этнограф, социолог и культуролог, создатель школы структурализма в этнологии (т. н. структурной антропологии), теории «инцеста» (одной из теорий происхождения права и государства), исследователь систем родства, мифологии и фольклора.

[120] Торричелли, Эванджелиста (1608—1647) — итальянский математик и физик, ученик Галилея.

[121] Рюэль, Давид (р.1935) — бельгийско-французский математический физик, работающий в области статистической физики и теории динамических систем.

[122] Аттрактор — центр притяжения, гравитационная аномалия.

[123] Близкий контакт третьей степени — термин из уфологии: контакт с самими обитатели НЛО.

[124] Рильке, Райнер Мария (1875—1926) — один из влиятельных поэтов-модернистов XX века.

[125] Прецессия — предварение, предшествование.

[126] Законы Ману — памятник древнеиндийской литературы, сборник предписаний благочестивому индийцу в исполнении им своего общественного, религиозного и морального долга, приписываемый традицией легендарному прародителю человечества — Ману.

[127] Бежар, Морис (1927—2007) — французский танцовщик и балетмейстер, театральный и оперный режиссер, один из крупнейших хореографов XX века.

[128] Пайдейя (др.-греч. воспитание детей) — категория древнегреческой философии, соответствующая современному понятию «образование»: определённая модель воспитания; составная часть слов энциклопедия, педагогика и т. д. Пайдейя иногда также интерпретируется как «культивация», ведущая к созданию культуры.

[129] *Fort-da* — игра, описанная Фредом, когда ребенок с помощью катушки, обвитой нитью, имитирует травмирующий и беспокоящий его уход матери из поля зрения и получает удовольствие. Сначала он выбрасывает катушку с возгласом «о-о-о» (что как бы значит *fort!* «прочь!»), потом несказанно радуется, когда втягивает ее обратно с возгласом «*Da!*» («тут»!)

[130] Орифламма — флаг или баннер, спускающийся с веревки, которая протянута поперек улицы.

[131] См. «Рассказ Чжуан-цзы о мяснике» из книги Бодрийяра «Символический обмен и смерть».

[132] Отсылка к книге «La Violence fondatrice» М. Маффесоли, который заочно полемизировал с Бодрийяром.

[133] Брутализация — дословно звероподобность, оскотинивание: огрубение, отупение, упрощение.

[134] Инстанцирование — моделирование конкретных сущностей реального мира, создание объекта из модели.

[135] Асцендент — восходящий знак, точка эклиптики, восходящая над горизонтом в момент рождения человека.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание
Авторская серия Жана Бодрийяра

Бодрийяр Жан

Фатальные стратегии

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Ведущий редактор *Д. Рындин*
Выпускающий редактор *Е. Крылова*
В оформлении обложки использовано
изображение арт-объекта «Сушилка для бутылок»
Марселя Дюшана, 1914 г.
Художественное оформление: *Е. Саламашенко*
Компьютерная верстка: *А. Дятлов*
Корректор *В. Павлова*



Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ

Подписано в печать 26.06.2017 г.
Формат 84×108/32. Гарнитура «Helios».
Усл. п. л. 15,12. Тираж 3000 экз.
Заказ № 7235.

Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

«Фатальные стратегии» — центральная, по мнению западных исследователей, работа Бодрийяра, поскольку именно здесь он излагает теоретическую основу всех своих предыдущих и последующих работ. Кроме того, в книге анализируются такие понятия, как судьба, любовь, соблазн, терроризм, экстаз, ирония, церемониал, обсценность, ожирение и т. д.
Вслед за смертью Бога, автора и человека философ провозглашает смерть субъекта как такового и верховенство объекта.
Единственная стратегия, пусть и фатальная, которую он предлагает, — перейти на сторону объекта и иронично взирать на обезумевший мир.
Именно после этой книги Бодрийяра стали называть гуру и даже первосвященником постмодернизма.



ISBN 978-5-386-10198-5



